

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 43

1964



Алан СИЛЛИТОУ

ДОРОГА НА ВОЛГОГРАД

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Алан СИЛЛИТОУ

ДОРОГА НА ВОЛГОГРАД

*Перевод с английского
Н. Дехтеревой*

Издательство «ПРАВДА»
Москва. 1964

Алан СИЛЛИТОУ

Алан Силлитоу — современный английский писатель. Родился в 1928 году в промышленном городе Ноттингеме. Рос в рабочей семье, с четырнадцати лет пошел на завод, из заводского ученика стал слесарем, затем токарем. Был призван в армию, зачислен в авиационные части колониальных войск и послан в Малайю. Служил радистом, на военной службе заболел туберкулезом легких. Два года провел в госпитале, много читал и писал стихи. Получив пенсию по инвалидности, уехал на юг Франции, затем обосновался на испанском острове Мальорке.

В 1957 году Алан Силлитоу закончил роман «В субботу вечером и в воскресенье утром». В 1958 году книга была напечатана и награждена премией как лучший английский роман того года.

Этот роман Силлитоу и вышедшая в 1959 году повесть «Одинокий бегун» были экранизированы и имели большой успех.

Другие книги Алана Силлитоу — роман «Генерал» (1960), роман «Ключ от двери» (1961), сборник стихов «Крысы» (1961), два сборника рассказов — «Одинокий бегун» и «Дочь старьевщика».

В 1963 году писатель побывал в Советском Союзе. Результат его поездки — очерковая книга «Дорога на Волгоград», которая дается здесь в сокращенном переводе.

Путь к Москве

Рванувшись из темной мути дождя, «Комета» под острым углом взвилась к серому брюху тучи. Внизу лондонский аэропорт разворачивался в город, населенный машинами: узор из туннелей, мостов, двойной ленты рельсов, автобусных станций. Оттуда, где небо было ясным, снижались самолеты, скользили по взлетно-посадочной полосе, грохотом сотрясая диспетчерскую вышку. Я захватил с собой две бутылки виски и бутылку джина.

В тучах еще мелькали просветы, где поворачивались улицы и поля, но самолет уже ворвался в клубы тумана; они потекли за окнами, и оттого, казалось, задрожал под ногами пол. В последний случайный просвет глянули квадратики полей — ровный ряд почтовых марок, будто землю упаковали и приготовили к отправке неведомо куда.

Я впервые лечу в таком большом самолете, да еще в реактивном. Завтрак на высоте семи миль теперь дело обычное, но, может быть, такая высота мешает вкусовым ощущениям — во всяком случае, он мне не понравился. Меня клонило ко сну, но ничего не получалось, я все таращил глаза на серовато-песочные улицы Копенгагена внизу. С такой высоты трудно определить, над каким именно городом пролетаешь. Южный край Швеции мы срезали, как кончик сигары. Даже нелегко отличить море от суши. Песок на дне казался землей, то рыжей, то желтой, то коричневой — всех оттенков до темно-серого.

Побережье Советского Союза. Небо ясное и солнечное, земля совершенно ровная, это даже не карта, а аккуратный чертеж, расстеленный на слегка поклатом столе земного шара: ровные линии железных дорог, медленно ползущие ленты рек, отчетливые, но не очень прямые дороги.

Рижский залив остался позади. Плоская равнина — Латвия. В час делаем пятьсот пятьдесят миль. Монотонное чередование серых и желтоватых пятен — они мелькают, сливаясь в одно, и я не могу решить, какой цвет преобладает. Трудно определить, что это за пятна, — при первой возможности надо будет

спросить или почитать об этом. Я разворачиваю карты: оказывается, мы пронеслись над железной дорогой Варшава — Ленинград, прямой, как стрела.

Кажется, будто земля внизу покрыта мелким, светлым, блестящим песком. Песок, песок, песок... Но ведь это же не может быть песок! Сахара сюда не доходит. Чем ближе к России, тем песка меньше. Самолет летит в необъятном круге небесного горизонта — движущаяся точка в голубой опрокинутой чаше галактики. А края ее желтые или цвета горчицы — как в Египте. Погода в Москве ясная, говорит пилот, но температура ниже нуля. Я откладываю карты, озадаченный цветом земли. Что же это все-таки такое? Вода? Нет. Снег? Слишком неровно лежит, только местами. Так что же это? Самые темные пятна — это, должно быть, леса.

Самолет набрал слишком уж большую высоту, ничего не разглядишь. Дневная, неясная луна смотрит на нас с северо-восточной стороны горизонта — ненавязчивый глаз в далеком небе, внезапно вами замеченный и похожий на обрывок светлой промокательной бумаги.

Я все же думаю, что этот песок внизу на самом деле снег. Горизонт в розовато-голубых тонах — небесное лето. Справа дорога, по которой Наполеон шел на Москву. И немцы тоже огнем прокладывали себе путь вперед. А до них — шведы и поляки. Англичане и турки в Крыму. Кто только не терзал эту страну! Земле стало легче теперь, когда мы можем проноситься над ней со скоростью шестисот миль в час.

Что я чувствую, летя над Россией? Когда мне было двенадцать лет, названия городов и рек, что лежат внизу, были на карте соединены дужками, проведенными карандашом, — это шли в наступление немецкие нацисты. Великие Луки, Ржев, Вязьма, Можайск — один за другим. Черная Смерть подбиралась все ближе к Москве. А потом вихрь Красного Мщения отеснил, уничтожил германские полчища.

Союз советских писателей пригласил меня приехать на месяц в СССР, побывать всюду, где мне захочется, посмотреть все, что меня интересует. Путешествие мое началось с Танжера. Оттуда — паромом до Гибралтара. И затем три дня на сверкающем океанском лайнере, следовавшем из Австралии. С нами был маленький ребенок, поэтому мы ехали первым классом. Было досадно: оказалось, на всем пароходе это — наискучнейшее место. В ресторане специально переодевшиеся к обеду врачи и колониальные чиновники возмущенно косились на мою трикотажную рубашку — а может быть, их оскорбляло отсутствие галстука, — но мой аппетит от их взглядов не страдал. В салонах царила мертвая тишина. Как-то вечером я забрел в

третий класс, где австралийцы — мужчины, женщины — пили пиво, танцевали, перекидывались шутками. Из всех проведенных на пароходе вечеров этот был самый приятный.

Когда я возвращался к себе в каюту, меня остановил стюард:

— Тут ведь первый класс!

— Знаю,— сказал я и пошел дальше.

— Вы поняли... сэр? — крикнул он мне вслед, очевидно, испугавшись, не сделал ли промаха.

Я ему не ответил.

В Москве

По всей Москве прошлое вырывают с корнем, как гнилые зубы. Куда ни глянешь — краны, бульдозеры, тракторы, грузовики. И на месте деревянных домов растут кварталы новых.

Я взял с собой в дорогу «Бедекер», путеводитель по России, изданный в 1914 году: книжка интересная, но практически бесполезная. Когда я был в Испании, я часто прибегал к помощи «Бедекера» такого же давнего года издания, и там он мне помогал значительно больше. У меня была с собой также грамматика русского языка, компас и английские крупномасштабные карты тех мест, которые я предполагал посетить. Я хотел ездить по незнакомой стране, как заправский путешественник прежних времен,— опираясь на топографию. На этих картах, выпущенных военным министерством, было напечатано обращение: в случае, если пользующиеся этими картами заметят какие-либо пропуски, убедительная просьба сделать соответствующие пометки и переслать карту непосредственно начальнику Военного топографического ведомства. Количество пропусков и ошибок было настолько велико, что карты эти могли пригодиться разве только в качестве книжных оберток. В одних случаях важные населенные пункты оказывались на двадцать миль в сторону от указанного места, некоторые крупные города вовсе не были нанесены на карту, не говоря уж о плотинах, мостах, водохранилищах и дорогах.

...С крутого склона Ленинских гор я смотрю на Москву. Над широко раскинувшимся городом главенствуют семь высотных зданий.

А сам город под снегом и оттого кажется приземистым, хотя в нем множество кварталов десятиэтажных зданий. Я стою у парапета, ветер стегает меня по лицу, рвет на мне плащ, выжимает из глаз слезы. Я в новом районе, расходящемся от меня во все стороны: высокие жилые дома стоят вдоль прямых

бульваров, которые сливаются с территорией университета. Сюда будут переведены из центра правительственные учреждения. Население Москвы уже превысило шесть миллионов.

Небо почти молочно-белое, словно это зеркало, отражающее огромную снежную пелену внизу. Лондон гнетет своей теснотой, задавлен транспортом и рекламой. Москва открыта всем ветрам, даже в самую худшую погоду она светлее Лондона и как-то ближе к жизни и к небу. Москва ближе и к земле — и москвичи тоже. Бог уже не может наложить на них свою лапу. Странно видеть огромный город, в котором почти нет церквей. Без религии людям легче, свободнее, лучше работает. Здесь царит атмосфера спокойствия, потому что все стремится к единой, общей цели, а не вступают в конкуренцию один с другим. Русские энергично и настойчиво создают новый духовный и материальный мир: они называют это «строительством коммунизма». Когда я хожу у кремлевских стен, сердце у меня колотится при виде красного флага, который свободно плещется на ветру.

Москва — город рабочего класса. Она напоминает мне о моей юности, когда я работал на производстве. Жизнь моя тогда проходила у машин. Запах машинного масла, вращение деталей на токарном станке... Здесь все дышит трудом, общей целью: рабочий класс ведет наступление на природу.

Сталинград

Я уложил чемодан, взял такси и поехал на Внуковский аэродром.

Вдоль шоссе миль за миль тянутся корпуса новых, только что построенных домов. Здесь на всех выездах из столицы в небо поднимаются десятки кранов — строятся все новые дома. Кажется, будто подъезжаешь к огромному речному порту.

На аэродроме много народа, ждут самолетов во все концы Советского Союза: русские пользуются самолетами так же широко, как англичане автобусами. Самые разные люди покупают билеты, сдают багаж, едят в ресторане и буфете: рабочие, крестьянки, солдаты и офицеры, какой-то человек сугубо интеллигентной внешности — должно быть, ученый, отправляющийся на целину. Как только мы оказались в воздухе, он углубился в толстый политический журнал с убогим шрифтом.

Среди ожидающих группа моряков. Толстые бушлаты плотно застегнуты на пуговицы. У каждого в ясных глазах фанатическая приверженность идее, взгляд бесшабашно смелый, уверенный. Такими, наверное, представлял себе Ленин матро-

сов революции, когда пушки крейсера «Аврора» ударили по Зимнему дворцу в Петрограде.

Час спустя я увидел длинную серую излучину Волги, на которой стоит Сталинград. Карта, последние два года висевшая на стене у меня в кабинете, вдруг ожила. Я смотрел на нее из окна самолета — она превратилась в бурую, лиловатую землю с пятнами и полосами апрельского снега; наступающей весне справиться с ним так же трудно, как трудно было советским дивизиям справиться с немецкими войсками, окруженными здесь в 1943 году. Это было двадцать лет назад, а теперь город отстроен заново, и в нем шестьсот тысяч жителей. Он растянулся на пятьдесят миль по правому берегу Волги.

В течение пяти лет после решающей битвы за Сталинград люди жили в подвалах, землянках, шалашах, палатках, в наспех сколоченных бараках и терпели злые зимние стужи и паллящий летний зной. Прежде всего начали восстанавливать заводы, за ними — культурные и административные учреждения и больницы. И только после этого — жилые дома. В таком порядке планировался и заново отстраивался город, обновлялось все, вплоть до канализации. Это строительство еще не завершено: каждый год требуется десяток новых школ, потому что растет рождаемость, и приток детей в новый город все увеличивается.

Улицы широки — поразительно, неимоверно широки. По обеим сторонам — ряды домов серо-желтого цвета, а посредине — скверы, бульвары. Деревья молодые, им всего десять лет, зимой это тонкие, редко стоящие голые стволы, но с началом весны ветви одеваются пышной листвой. Все заводы расположены по берегу Волги: гудят, извергают дым, неустанно вырабатывают продукцию.

Немцы написали и, вероятно, напишут еще сотни книг о Сталинграде, и везде они упорно называют разгром своих войск под Сталинградом «бедствием». Определение это у них в ходу, вероятно, потому, что в Западной Германии на русских все еще смотрят как на людей «низшей расы». Но поражения на Западном фронте в первой мировой войне, я полагаю, именуются «поражениями» потому, что немцы терпели их от англичан, французов и американцев. Когда немцев разбивают в пух и прах русские, это именуется не поражением, а «бедствием», и немецкие историки усердно изыскивают его причины. Герлитц объясняет разгром немецкой армии под Сталинградом плохим руководством, зимой, растянутостью коммуникаций и тем обстоятельством, что ее разделили и половину перебросили к Кавказу. А что такое была, по мнению Герлитца, 62-я Сибирская армия — призрачный туман? Современная политиче-

ская ситуация и требования официальной пропаганды всегда будут приводить к искажениям фактов и подробностей в любой книге о вторжении немцев в Советский Союз. Герлиц, кстати, замечает, что германская армия, во всяком случае, получила *coup de grâce*¹ не под Сталинградом, а в крупном танковом сражении под Курском в апреле 1943 года. Существуют самые странные мнения. Диксон и Хейльбронн, эти великие знатоки коммунистической партизанской войны, по-видимому, считают, что немцы справились бы с партизанами за линией фронта, если бы лучше обращались с русским населением!

Я вдруг почувствовал, что Сталинград — центр всего мира. Именно здесь разрешался конечный конфликт между добром и злом. И последняя битва большевистской революции происходила здесь, и, может, это — место последнего решительного столкновения двух миров, поворотный пункт в истории человечества, в борьбе между разумом и мракобесием, наукой и варварством. Это все отвлеченные понятия, абстрактные термины, а было так: текла Волга, на воде пылала нефть, пыль и копать смешивались с дымом пожарами... По реке взад и вперед сносили лодки, прорываясь через завесу артиллерийского огня, в котором людям невозможно было остаться живыми, и все-таки они остались живы...

Я побывал в различных районах города. Макеты танковых башен отмечают линию фронта, которую держал Чуйков в октябре и ноябре: плацдарм глубиной в две сотни ярдов. В новом городе танки поставлены во многих местах. Последний узкий плацдарм русских занимал площадь в шесть квадратных миль, эти позиции держала 62-я Сибирская армия. Единственные развалины, сохранившиеся в новом городе, оставлены как памятник сражений. Это большой завод, который немцам не удалось сравнять с землей. Он пробит, продырявлен, усеян следами пуль и, однако, выдержал все пять месяцев осады. Кирпичи, из которых он сложен, когда-то чистые и красного цвета, теперь, рядом с новыми домами, построенными из песчаника, кажутся цвета запекшейся крови — такими сделали их огонь и время. В дни сражений тут помещался штаб дивизии. Задняя стена здания выходит к самому берегу. В этом воскресшем городе оно кажется странным и одиноким — все живое как будто чурается его. Неподалеку, на площади Ленина, шумно играла детвора, и это заставляло еще острее ощущать зону безмолвия вокруг израненного шрапнелью обломка войны. Из всех сталинградских памятников этот больше всех внушает трепет.

¹ Последний, добивающий удар (франц.).

Даже чайки с Волги избегают пролетать над крышей старого завода. Само назначение — напоминать о войне — обособляет его от всего живого. Так он будет стоять, пока сам не рухнет или не рассыплется в прах, потому что исчезнет смысл его существования.

Второе уцелевшее в боях здание — дом сержанта Павлова. Дом восстановлен полностью в своем довоенном виде. Он находился за линией фронта и в течение пятидесяти восьми дней был в окружении, поэтому в штабе дивизии на заводе не знали, кто руководит его защитой. В неразберихе после боя, когда дом освободили, сержант Павлов исчез, и его удалось разыскать лишь двадцать лет спустя. И другие оставшиеся в живых защитники дома были собраны вместе. Среди них грузины, русские, евреи, украинцы, татары, белорусы — та «смесь» различных национальностей Советского Союза, которые разгромили «чистокровных» нацистов, пытавшихся стереть их с лица земли. Четырехэтажный дом, как и все новые здания города, серо-желтого цвета, под стать лежащим вокруг степям в пору ранней весны: с воздуха Сталинград разглядеть не так просто. Дом снова заселен жильцами. Важные, самоуверенные голуби воркуют на его карнизах и у водосточных труб. Из окна верхнего этажа выглянула миловидная женщина и без удивления смотрит на стоящую на мостовой группу экскурсантов, которые глядят вверх на дом. Молодой парень, из-за сильного ветра одетый почти по-зимнему, выводит на дорогу свой мопед и мчится по направлению к дымящимся трубам завода «Красный Октябрь». Говорят, сержант Павлов работает теперь в подмосковном совхозе. Дом, который он защищал, стоил немцам больших людских потерь, чем взятие Парижа.

Отголоски войны в Сталинграде почти не чувствуются. Но есть еще одно памятное место: Мамаев курган. Это незастроенный холм между центром города и северо-восточными заводскими районами. Захватив холм, немцы могли обстреливать волжскую переправу прямой наводкой. Мамаев курган несколько раз переходил из рук в руки, но в конце концов остался у немцев. За него велись кровопролитные сражения — сейчас там сооружается грандиозный, но безобразный памятник: от берега идут ступени огромной лестницы, по обеим ее сторонам расставлены статуи и разбиты сады. Прошло десять лет, прежде чем там вновь выросла трава.

Я побывал в Планетарии. Это подарок Сталинграду от Германской Демократической Республики. Сталинградцы считают дар этот как нельзя более уместным и говорят о нем с легкой усмешкой. В Планетарии демонстрируются документальные фильмы о сражениях. Самый лучший из них — о соединении

19 ноября двух советских армий, когда завершилось окружение немецких войск.

Первые кадры — необъятная снежная степь. Слева появляется советская пехота, она медленно продвигается вперед. Справа тоже шагают пехотинцы, и так же медленно. Те, что слева, ускоряют шаг, несмотря на автоматы, гранаты, тяжелое зимнее обмундирование. Теперь и пехотинцы справа идут быстрее, вот они бегут навстречу друг другу. Некоторые на ходу падают в снег, поднимаются, бегут снова. Машут руками. Слышны хрипловатые выкрики, гулко отдающиеся в морозном воздухе. Кажется, им надо еще долго бежать, чтобы встретиться, но вот двое уже сгребли друг дружку в мощном медвежьем объятии. Некоторые стреляют из автоматов в свинцовое небо. Один, не добежав, упал и сидит, не в силах подняться после долгого бега. Солдат из встречной группы помогает ему встать, и они обнимаются. Камера панорамирует: обе группы соединились в единое целое, замкнув крепкую цепь, которую немцам не суждено было разорвать.

Немцы, мастера брать противника «в клещи», попали в собственную западню — огромную, неумолимую западню.

Волгоград

Я иду к Волге, стою на набережной. Прохожих почти нет, лишь изредка показывается возвращающаяся домой пара. Нет, что-то не так, чего-то не хватает — это чувство гложет меня. Я не знаю, куда мне пойти, я как беспокойный путешественник, которому надо все сразу, который жаждет романтических приключений в чужом ночном городе. Будь я в Испании, Франции, Марокко, даже в Москве, я бы сейчас расхаживал по узким оживленным улочкам, полным народа. Но здесь, в Волгограде, этот час считается уже поздним, улицы необъятно широки, и по прихоти истории здесь нет старого города, где можно было бы побродить, нет зловонных тупичков, озаренных светом человеческой нищеты, какие находишь в Испании или Марокко. Волгоград, вероятно, самый современный город на всей земле.

По одной из широченных улиц мчит машина. Северо-восточный ветер несет с собой сухой, холодный запах степи, будто зима залегла там, как зверь в огромной берлоге. Далеко на противоположном отлогом берегу вытянулись длинной полосой полночные огни Красной Слободки. Ни один катер не движется в ту сторону. Слободку называли «красной» за ее роль

в революции и последовавшей затем гражданской войне. Восстания всегда начинаются с предместий — это закономерно.

Вместе с ветром сеет апрельский дождик, и я иду к себе в гостиницу. По дороге останавливаюсь у памятника войны, грею руки над неугасимым огнем, пылающим посреди пятиконечной бетонной звезды. Это живое пламя, загоревшееся в двадцатую годовщину сталинградской битвы, питается природным газом и будет гореть вечно. На торжественном открытии памятника он был зажжен током электростанции в Волжске, в двенадцати милях от Сталинграда. Из окна своего номера я вижу, как люди останавливаются и пристально смотрят на пылающий огонь. Днем и ночью всегда кто-то не спускает с него глаз, не просто вспоминая погибших и трагические события войны, но, словно застыв, ошеломленный потрясающими масштабами катастрофы.

Мне хорошо в Волгограде, я мог бы жить здесь месяцы. Я писал бы книгу, смотрел на Волгу, плавал в ней, съездил бы на речном трамвае в Красную Слободку, познакомился бы с многими людьми. Сильнее, чем Москва, меня будоражит этот город, стоящий среди необозримых просторов, недоступных воображению. Здесь обосновалось много молодежи, она стекалась сюда со всех концов страны, чтобы участвовать в небывалом в истории воскрешении города. На заводах грохот и жара, но там, где люди живут, воздух такой свежий, будто здесь, на берегу великой русской реки, самый лучший на свете климат. Как говорит Курцио Малапарте, Волга такая же европейская река, как Сена, Рейн, Висла или Темза. Волга берет свое начало в Европе и длиннее всех четырех, вместе взятых.

Волгоград — город молодежи. Вырвавшись из праха и развалин, он жаждет веселья. Интересно, посмел ли хоть раз кто-либо из местных стилиг поднимать шум на улице Мира?

Холод, ветер, небо обложено тучами, и пыль — Царицын всегда слыл пыльным городом. Сталинград одолевал жаркий, сухой ветер из Казахстана, но в Волгограде его задерживают пояса зеленых насаждений, они останавливают и ослабляют силу ветра, несущего пыль. Они кажутся прямыми линиями, если смотреть на них с высоты двадцати тысяч футов. Но для степного ветра все же открытого пространства хватает — ему есть где разгуляться: у меня от него потрескались губы. Почва в этих краях светлая, песчаная, напоминает пустынные земли на юге Испании, только тут земля покорена, обработана и родит больше. Восемь дюймов осадков в год ценны тем, что эта цифра неизменна.

В нескольких милях к северо-востоку стоит гидроэлектростанция. Наша машина проехала всю центральную улицу длинного города, миновала пригород, поселки. Металлургический завод «Красный Октябрь» — лес кирпичных труб. На заводе трудятся шестнадцать тысяч рабочих. Он растянулся по берегу Волги, а дальше от берега на возвышенности расположились кварталы домов, где живут рабочие. Я осмотрел завод, видел весь процесс плавки стали, превращение ее в полосы и бруски. Я глядел сквозь маленькие стеклянные окна в расплавленное чрево печей — температура их настолько высока, что трудно заставить себя даже приблизиться к их закрытым дверям.

Недавно одну из печей демонтировали и под самым ее фундаментом, где бушевало яростное пламя, обнаружили неразорвавшуюся фугасную бомбу. Ее удалось благополучно убрать. Грохот, жара, пыль — непрерывная атака на сырье: расплавить его, отформовать, разрезать. Потом отгрузить всю массу готовой продукции. И все для того, чтобы людям жилось лучше.

Плотина возле Волгограда образовала озеро почти в четырехста миль в длину и десять миль в ширину. На случай бурь выстроены специальные гавани: волжские суда постоянно курсируют между Горьким и Астраханью. Волгоградская электростанция вместе с электростанцией на Каме дает четырнадцать миллионов киловатт энергии. По верху плотины проходит шоссе и железная дорога.

Наш гид объяснил нам, как работает электростанция. Даже не имея настоящего образования, приобретаешь немало разнообразных сведений: процесс заводского производства, сеть электропередач, городское планирование, язык, обычаи, новое общественное устройство. Атмосфера в стране особая, совершенно непохожая на все то, что я знал прежде, и мое воображение не в силах было нарисовать мне Лондон, каким он должен был быть в это утро. И память не смогла перекинуть мост от нового к старому. Я видел туманные очертания зданий, утративших форму и цвет. Перед глазами у меня были лишь серые, смутные тени. Я не мог вспомнить привычные звуки, запахи, даже знакомых мне людей. Глядя на север, в прозрачную дымку Волжского моря, я как будто утратил свое прошлое, как будто у меня не было другой жизни до того, как я спустился с неба в Москву всего немногим больше недели назад. И будущее мне рисовалось неясно. Я очутился в необъятных российских просторах и жил ото дня ко дню. Меня ошеломяло все, что я видел, все было так ново, оно вытесняло из моего сознания остальное. Но дело было еще и в другом. Меня захватила Волга, великая река, дважды прегражденная — природой и человеком: природа останавливает ее сплош-

ной ледяной пеленой, идущей с далекого севера, а человек — бетонной стеной в пять тысяч ярдов.

Прощай, Волгоград! В холле гостиницы писатель Николай Мусин подарил мне книги, открытки с видами города — на память о городе и о людях. Инесса Алексеева, наша переводчица из иностранного отдела городского исполкома, сказала, чтобы мы снесли наши вещи вниз, их поставят в машину.

— Наш багаж уже внизу, — ответил мой спутник. — У нас у каждого только по чемодану.

Она улыбнулась.

— Вы путешествуете, как подобает настоящим мужчинам.

— Есть такой русский обычай: перед дорогой полагается присесть и немного помолчать, — сказал Мусин.

Мы были в шубах, меховых шапках; курили, болтали. Я пожалел, что не насыпал в жестяную коробку из-под табака горсть земли с Мамаева кургана — на память о Сталинграде. С минуту мы посидели, помолчали. Затем пошли к ожидавшей нас машине и поехали на аэродром.

Ленинград

Чтобы получить общее представление о незнакомом городе, хорошо впервые прилететь в него самолетом. Финский залив затянут льдом, но ледоколы пробили канал для судов: широкая линия, ведущая к невидимому Кронштадту. Карты, путеводитель и книги о русской революции помогли мне узнать Путиловский завод, Зимний дворец, Исаакиевский собор — все это промелькнуло за какие-то доли секунды, перед тем как самолет пошел на посадку к югу от города.

Гостиница «Астория» роскошна — в моем «Ведекере» она помечена звездочкой: особо рекомендуется. У меня номер с гостиной, ванной и альковом. Я еще никогда так не путешествовал. Телефон, письменный стол, платяной шкаф, диван. Бронзовая статуя с надписью на постаменте: «*Phrygè devant ses juges, par Champagne*»¹, — лицо скромное, тело сладострастное. Я сдал в стирку и чистку мои волгоградские вещи. Мне не терпится выйти на улицу. Сегодня утром я умывался водой из Волги, днем я моюсь водой из Невы.

Я иду по Невскому проспекту — длинная, прямая и широкая улица, и хотя дома по обеим ее сторонам достаточно высокие, они каким-то образом не заслоняют небо и высоко плывущие по нему мягкие облака с Финского залива. Толпы народа — субботний вечер, и магазины закрываются поздно. Уни-

¹ Фрина перед судьями, работа Кампаньи (франц.).

вермаги, кафе, рестораны, кинотеатры окаймляют главную артерию города с трехмиллионным населением. Балтийские матросы прогуливаются в компании товарищей или со своими подругами. Матросские лица, словно отлитые из стали, красивы грубоватой юношеской красотой. Становится понятно, почему именно моряки были в авангарде революции 1917 года, почему во время последней войны они же составляли ударные батальоны в Сталинграде, Севастополе, Одессе и самом осажденном Ленинграде.

Глядя на высокие ленинградские здания, отражающиеся в каналах, я вспоминаю Амстердам. Центр города изрезан каналами, они идут от реки, образуя четыре дуги. Эти каналы помогли большевикам стать хозяевами города в дни Октября. За несколько ночных часов он оказался под большевистским контролем: солдаты, матросы и рабочие захватили каждый мост, вокзалы, телеграф и почту, банки, казармы и электростанции. Во время Октябрьского восстания было убито всего шесть человек. Темнота приглушала шум и гул восстания. Большинство солдат, перешедших на сторону большевиков, оставило окопы после свержения царя в феврале того же года. Сотни тысяч солдат бросали фронт, уходили от нечеловеческих мук, гнусной, бессмысленной бойни. Многие просто разошлись по домам. Другие, оборванные, голодные, с большевистскими листовками и газетами в карманах, добрались до Петрограда. Пока они тут делали революцию, английские солдаты на Западном фронте продолжали умирать тысячами, тупо позволяя гнать себя в кровавое месиво. Простые, малограмотные русские солдаты благодаря большевистской пропаганде и собственному здравому смыслу, который они доказали на деле, проявили более острое политическое чутье, просто-напросто повернувшись к войне спиной и уйдя от нее прочь. Как сказал Ленин, солдаты ногами проголосовали за мир. Генерал Духонин, протестовавший против заключения сепаратного мира, был солдатами расстрелян.

Русские солдаты совершили революцию, они не захотели на веки вечные оставаться покорными царскими подданными. Помимо многого другого, что сделано большевиками, они прежде всего изменили старый порядок. Городское население, составлявшее в 1913 году 18%, к 1959 году увеличилось до 48%. Число крупных городов с населением свыше ста тысяч человек возросло с тридцати трех до ста сорока девяти. В наши дни несколько старомодно сравнивать царскую Россию с Советским Союзом: в конце концов революция произошла почти полвека назад. Но именно большевики сделали Россию страной техников и шоферов. Когда немцы вторглись в нее в 1941 году,

они увидели иную страну, иной народ — совсем не то, что было, когда они воевали с ней двадцать пять лет назад. Русские танки и русские инженеры оказались куда лучше, чем они предполагали, и нередко гораздо лучше немецких. У немцев имелось двадцать два различных типа танков, а у русских — всего лишь два, но как только промышленность была эвакуирована на Урал, их стали производить в огромных количествах. Русские танки часто вступали в бой непокрашенными, без удобных сидений для экипажа, но в деле показывали себя лучше немецких. Так было даже в самом начале немецкого вторжения. У русских есть сноровка, терпение, даже гениальность, которой обладают народы, слишком долго лишенные возможности реализовать свой научный и технический потенциал. Как раз потому, что реализация эта запоздала, запас сил, вырвавшихся наружу, был особенно мощным. Ленинская политика индустриализации осуществляла давние чаяния народа. Поняв, что большевизм — единственное, что может сделать их мечту явью, русские люди отдали ему всю свою энергию и отвагу.

Чтобы принять машину, надо было прежде всего отделиться от бога. Это очень кстати вспомнить сейчас на улицах Ленинграда, столицы Красной Европы, пострадавшей больше любого другого города во имя революции. Я цитирую путеводитель Карла Бедекера, этот беспристрастный сборник сведений о России 1914 года:

«Характер русских сложился не только под влиянием многих веков гнета феодального деспотизма, но и под влиянием дремучих, непроходимых лесов, скудной почвы, сурового климата и в особенности вынужденного бездействия в долгие зимы. Они угрюмы и замкнуты, упрямо держатся старых обычаев, беззаветно преданы царю, церкви и помещикам. Легко подчиняются дисциплине, почему из них выходят отличные солдаты, но мало способны к инициативе и самостоятельному мышлению. Таким образом, средний русский — это оплот экономической инерции и политической реакции. Даже русские интеллигенты, в общем, пассивны и глухи к требованиям реальной жизни. В той или иной степени все они жертвы воображения и темперамента, что подчас приводит к душевной депрессии или, напротив, к бурному эмоциональному взрыву. В этом объяснение недостаточной организованности, беспорядочности, пустой траты времени, которые замечает житель Запада, посетивший Россию.

Низшие классы обречены на ужасающую нищету и лишения. Нищие очень назойливы, особенно возле церквей.

Иностранца поражает, как часто русские осеняют себя крестным знамением, падают ниц перед каждым открытыми

вратами церкви, в самой церкви целуют пол и священные реликвии.

В каждом доме, и в деревне и в городе, в углу висит икона с негасимой лампадой. Войдя в дом, русский обязательно перекрестится на икону.

Промышленность до сих пор играет значительно меньшую роль по сравнению с сельским хозяйством. Правда, за последнее время правительство предприняло ряд шагов для ее развития, но не хватает отечественного капитала и квалифицированных рабочих».

Все эти обобщения в известной степени показывают, каковы были представления иностранцев о дореволюционной России: слишком много бога и слишком мало машин; слишком много вялости и апатии и никаких общественных интересов; слишком большая бедность, чтобы терпеть ее, и слишком мало надежды выбраться из нищеты. О Советском Союзе существует много предвзятых мнений — вам их высказывают, узнав, что вы собираетесь туда ехать. И начинаешь чувствовать себя корреспондентом, отправляющимся на линию фронта «холодной войны», хотя на самом деле ты всего лишь путешественник и просто хочешь посетить страну, живущую так бурно, такую человеческую и особенно интересную именно тем, что ее общественный порядок совсем непохож на все, тебе известные. Эту необыкновенную человечность русских я ощущал с особенной силой, не только когда думал, что было сделано ими для ее сохранения во время фашистского нашествия, но и когда вспоминал, что русские, чтобы дать каждому человеку возможность стать полноценной личностью, должны были свергнуть империю и стряхнуть с себя феодальную инертность.

Для достижения этой цели была необходима машина, что, в свою очередь, означало необходимость избавиться от бога. Он был сметен большевистской энергией, грузовики и тракторы обгоняли это шатающееся, оборванное пугало, гигантские самолеты проносились над ним — его ослепляли огни гидроэлектростанций, атомные ледоколы вскрывали слой за слоем его покрытое корою сердце. Машины раздирали недра земли, останавливали течение рек, строили города, мчались к луне. Бог, быть может, еще не до конца уничтожен, но он остался где-то далеко позади.

Бессмертие — это машина, с ревом проносящаяся мимо окна, за которым ты лежишь на смертном одре. Смерть — это тьма, конец, но только для тебя, а не для всех остальных, не для тех, кто остается жить, продолжает строить машины, читать книги при электрическом свете, идущем с электростанций, построенных этими машинами. Коммунист открыл, как жить без

бога, и люди, все еще живущие с богом, даже не могут себе представить, какой это огромный шаг вперед. Не могут представить себе это и те, кто не верит в бога, но все же нет-нет да и примется обсуждать возможность его существования. Для коммуниста бог не является предметом спора. Он не ощущает ни необходимости, ни потребности заниматься обсуждением подобной темы. Идея бога была бы разрушительной силой в обществе, основанном на равенстве или стремящемся к равенству. Бог был бы большой помехой в мире социальной техники: как устаревший инструмент или станок, он изъят, выброшен, ражавеет на свалке.

Коммунист может смотреть в голубое небо или на звезды, не думая о боге. Так же, как преодолеваются просторы сибирской земли, будут преодолены и небесные просторы; голубое небо (пусть оно бесконечно) должно стать сетью дорог для машин, созданных человеком. Эту же черту — способность жить, не думая о боге, — я замечал и у английских рабочих. Если бы я спросил какого-нибудь из них: «Ты веришь в бога?» — он бы пробурчал: «Не знаю».

И продолжал бы свою работу, как будто тема эта к нему не относится и никакого значения для него не имеет. Небо все равно будет голубым или темным, веришь ты в бога или нет. Бог не сможет заставить твою машину двигаться быстрее, действовать лучше. Только ты, человек, можешь это. Такая религия разума способна дать большое удовлетворение. Не это ли неведение бога позволило солдатам ленинградского гарнизона в продолжение девятнадцати месяцев оставаться на линии огня и одержать победу над немцами — этим высшим продуктом западной цивилизации, чьи батальоны вошли в Россию с палачами и священниками в своих рядах?

На Неве ломается лед. Из Зимнего дворца я вижу, как реку душат льдины — огромные куски ледяного пласта, кое-где еще покрытые зимней копотью и похожие на уголь. Среди льда белеют обломки досок и бревна: река принесла их сюда с фабрик городской окраины или из лесов далекой Ладogi. Весенние дни в Ленинграде плывут, как лед на воде, как румяные облака над дальними берегами реки. На том берегу на фоне заводских труб — три серые дымовые трубы крейсера «Аврора». Кроваво-красный флаг, ныне бездействующий, празднично свисает с кормы. Во время второй мировой войны, когда немцы осаждали Ленинград, флаг «Авроры» развевался на адмиралтейском шпиле как эмблема коммунизма и насмехался над немецкими

нацистами, которые из своих окопов могли видеть его в бинокль.

Через одиннадцать недель после того, как немцы вторглись в Россию, их орудия уже могли обстреливать город. Он был осажден, и блокада продлилась двадцать месяцев. Гитлер, боясь ленинградских улиц, не хотел впускать туда своих солдат, надеялся быстро взять город измором и заставить сдать-ся. Ленинград, город Ленина, оттянул на себя большие силы, которые, если бы Гитлер обладал стратегическим чутьем, он должен был бы бросить на Москву. Фанатик с остекленевшими глазами уже разослал приглашения на торжественный банкет в «Астории». Кроме того, он потребовал расстрелять несколько сотен тысяч жителей и разрушить город до основания. Несомненно, это распоряжение было бы выполнено. Даже в приказах по немецкой армии город иначе не именовался, как Петербург, его никогда не называли Ленинградом, так ненавистно было нацистам имя Ленина.

В ту страшную голодную зиму отапливать дома было нечем. В школах в чернильницах замерзали чернила. Учителя умирали. Дети, продолжавшие посещать школу, выжили; многие из тех, кто оставался дома, погибли. То же было и со взрослыми. У тех, кто, едва передвигая ноги, все же аккуратно выходил на работу, посещал собрания, было больше шансов выжить, чем у тех, кто спрятался в своем углу. В коллективе люди сохраняли силу духа. Отбившиеся умирали.

На улицах лежал небурный снег. В нетопленных домах стены густо покрылись инеем. По карточкам давали полфунта хлеба в день, и это было почти все. В начале блокады педантические немцы постарались разбомбить продовольственные склады, спалив тысячи тонн продуктов. В самую тяжкую пору голода ежедневно умирало до тридцати тысяч человек. Транспорт в городе был остановлен. Воду доставали прямо из Невы, из прорубей во льду.

Вот отрывок из дневника школьницы, погибшей во время ленинградской блокады:

«Женя умерла 28-го декабря 1941 года, днем в половине первого.

Бабушка умерла 25-го января 1942 года.

Лена умерла 17-го марта 1942 года.

Дядя Леша умер 10-го мая в четыре часа дня.

13-го мая в половине восьмого вечера умерла моя мамочка.

Савичи умерли, все умерли».

В Ленинграде каждый встречный, если он достаточно взрослый, расскажет об осаде. Начиная с революции, история России так богата событиями, что их хватило бы на тысячу лет.

Я подозвал такси и сказал по-русски: «К Финляндскому вокзалу!» И вот я у памятника Ленину. Памятник хороший. Многие не так хороши, в особенности тот, что в метро. Ленин зажал в руке кепку, пальто нараспашку, и, несмотря на холодную весну, пиджак тоже распахнут; большой палец левой руки засунут в пройму жилета, правая рука вытянута вперед. Ленин говорит: «Да здравствует социалистическая революция!» Памятник поставлен после ее свершения, и Ленин смотрит твердым, гордым взглядом на свои зримые и незримые дела.

Мне показали Смольный. Из комнаты в комнату ходили группы русских экскурсантов. Вместительное здание когда-то было пансионом для благородных девиц, а в 1917 году в нем помещался революционный штаб. Теперь здесь Ленинградский горсовет, и только одна комната стала музеем — та, где работал Ленин.

Меня поразила простота обстановки. В комнате, где происходили совещания, на стене в рамке наскоро набросанная рукой Ленина записка о советском контроле. Рядом висит карта Петрограда с нанесенным на ней оперативным планом Октябрьского восстания, который был разработан Военным комитетом. На плане помечены все стратегические пункты, нанесены идущие от заводов и казарм линии наступления, сходящиеся в центре, у Зимнего дворца. На этот испещренный цветными карандашами план восстания (а действительно были холод и голод, снег, пули, топот бегущих ног, газеты, горячие речи, война и заговоры), на этот сложный план, составленный с предельной простотой, как это было свойственно большевикам того времени, смотрят, безусловно, многие; он висит на стенах и в Южной Америке и в Азии. Такого рода карта гипнотизирует — я мог бы часами проследживать сложные пути ее линий.

Русские экскурсанты взглянули на карту лишь мимоходом — для них все это было не ново — и тотчас прошли в личную комнату Ленина и Крупской. Там стоят кушетка и два стула — спартанская обстановка русских политических ссыльных девятнадцатого века. Письменный стол, еще какой-то столик, электрическая лампа. Эта же лампа могла быть использована и как керосиновая, так что Ленину не приходилось прерывать работу, если гасло электричество. Гардероб и буфет исчерпывали остальную обстановку. Ленин и Крупская обедали внизу, но иногда Крупская готовила здесь чай.

За перегородкой две армейские койки: Ленина — слева, Крупской — справа. Солдат Жолтищев подарил Крупской крохотное зеркальце — круглое, дюйма полтора в диаметре, в темной деревянной рамке. В нем едва можно разглядеть лицо, на-

столько мало стеклышко: видишь поочередно нос, один глаз, губы. На обратной стороне зеркала надпись по-английски: «Ниагара — Фоллс, Канада». Каким образом могло оно попасть в руки русского солдата?

В тот вечер, когда я уезжал из Ленинграда, отправляясь в Москву и в Сибирь, солнечный закат заливал город мягким светом. Была середина апреля. Из-за угла показался трамвай, солнечный свет ударил в его стекла, и на мгновение они засверкали, как ряд медных кастрюль. На одной из улиц ребятишки, взобравшись на кучу мелких камней, усердно швыряли их в канал, словно хотели как можно скорее освободиться от этого занятия и съехать на тротуар. Мимо прошел человек, держа на детских помочах двух близнецов в одинаковых красных шапочках и шерстяных рейтузах. Им было года по два, и они рвались вперед и тянули помочи с одинаковой силой. Отец, высокий молодой рабочий в кепке, смеялся, а малыши тащили его вперед.

Мне было грустно покидать Ленинград. Мне было грустно расставаться и с Москвой и с Волгоградом. В каждом городе, в котором я побывал, после трехдневного знакомства я готов был остаться до конца жизни. Быть может, мне просто хотелось бы навсегда обосноваться в каком-нибудь городе, но это невозможно, потому что я оставил тот, в котором родился, повинувшись необъяснимому импульсу, превратившемуся в необходимость,—слишком долго я мечтал об этом.

«ТУ-104» взмывает в небо, мчится через черную ночь над Новгородом, поворачивается серебряным носом к Москве, а я сижу в его огромном, слабо освещенном брюхе и перелистываю журнал.

Иркутск и Байкал

Иркутск, как показывает карта, лежит так же далеко на востоке, как Сингапур: от Москвы до него три тысячи миль. А чтобы добраться до Тихого океана у Владивостока, потребуются еще две тысячи миль. Вот это, я понимаю, край!

На Мальорке я встретил техасца, он сказал мне, шутя:

— Англия? Если этот островок поднять и забросить в Техас, он затеряется там в каком-нибудь уголке.

Я ему на это ответил:

— Ну, а если забросить Техас в Сибирь, он утонет в одной из сибирских рек.

Чтобы пройти столько, сколько этот «ТУ-104» отмахивает за полчаса, старому военному транспорту «Рэнчи», на котором в

1947 году я плыл в Сингалур, нужен был целый день. Перелет от Москвы до Иркутска равен перелету через Атлантический океан или через США.

Это была самая короткая ночь в моей жизни. Сутки сокращаются на пять часов, и солнце зажгло небо перед восходом в два часа пятнадцать минут вместо семи часов утра. Внезапно неизвестно откуда через весь горизонт легла раскаленная докрасна полоса. Петропавловск распластался внизу, рассыпался светящимися точками. Сибирские города видны издали за многие мили, они сверкают яркими огнями, освещены всю ночь — электрическая энергия с гидростанций дешева. Красная полоска рассвета сливается с оранжевой, желтой, синей, черной. Внизу чернеет земля в сибирских снегах. Самолет идет на снижение, и все начинают сосать конфетки, чтобы не трещало в ушах, чтобы можно было время от времени различать шум моторов, если уж покажется, что мы просто плывем, уносимые воздушным течением.

Внизу, когда мы приземлились, было темнее. В то утро я видел два рассвета: один — на высоте шести миль, пасмурный и прекрасный, в приглушенных дымчатых тонах, а другой — когда стоял на земле, только что выйдя из самолета. Полное солнце, круглое и блестящее, как марокканский апельсин, выкатилось на самый конец взлетно-посадочной полосы, будто отдыхая после медленного плеска холодных волн во Владивостоке. Сейчас оно начнет подниматься в небо или, набирая скорость, покатится прямо к нам, к зданию аэровокзала...

День уже в разгаре. Снова летим на высоте шести миль. Омск лежит на полпути через громадную равнину, и полчаса спустя показались горы; перед Иркутском они достигают десяти тысяч футов. Мне следовало заснуть — впереди был еще целый день. Я опускал голову, закрывал глаза, но они открывались сами собой, глядели всюю и гнали меня к окну — смотреть на бесконечную землю под нами, на темные массивы лесов, расщепленные ленивыми зигзагами широких рек. Транссибирская железная дорога осталась далеко на севере. К югу лежала Монголия, и мы, должно быть, пролетали всего в нескольких милях от нее, но я сидел у противоположного окна и не увидел ее. Самое лучшее место у окна занимал пассажир, сразу же погрузившийся в спокойный, крепкий и, казалось, непробудный сон.

Иркутск. Под ногами снова твердая земля, во всяком случае, на несколько дней, а потом опять в небо, как неприкаянный человек-птица. Но наконец-то, наконец-то я в таком месте, куда не падали немецкие бомбы, где вокруг меня здания, которые не видели немецкие войска, на которые они не нала-

гали жадной тевтонской лапы. Европа мне неприятна одним: там повсюду побывали немецкие войска. Наш большущий, славный «ТУ-104» приземляется в Свободной Сибири.

Город очень обширен, и в нем живет полмиллиона человек. Главные улицы асфальтированы, вдоль них тянутся каменные многоэтажные дома обычного типа. Но много еще и деревянных домов на немощенных улицах. Я осматриваю город на машине и заезжаю к председателю Географического общества. Мы говорим об Иркутской области, он рассказывает мне о ее настоящих и будущих огромных богатствах. Его слова будто тараны, пробивающие (после немалых и умелых трудов) ворота в эти сокровищницы Советской страны. Иркутская область больше Франции, Бельгии и Голландии, вместе взятых, а это одна из самых маленьких областей в Сибири, и недра ее, скрытые покровом лесов, битком набиты углем, железной рудой, золотом, солью и слюдой. Географ белокур, с бурятскими чертами лица, и в его глазах, пока он перечисляет чудеса одной только этой сибирской области, загораются огни, словно в покоряемой тайге. На такой большой территории живет всего два миллиона человек, но в области есть золотодобывающая промышленность, лесные, машиностроительные и химические комбинаты. Здесь выращивают хлеб, разводят скот, ловят пушного зверя — добывают «мягкое золото» горностая, соболя и белки. А Байкал и любая из рек, какую ни назови, изобилуют рыбой.

На Ангаре возле Иркутска и в Братске выстроены плотины гидроэлектростанций. Возле них обеих возникли широкие моря. В настоящее время Иркутская область получает такую же сумму капиталовложений, какая предусматривалась по плану первой пятилетки для всего Советского Союза. Предполагается соорудение системы из девяти плотин на реке Лене. Географ широкими движениями рук провел дуги на стенной карте. В 1978 году можно будет одним пароходом, не пересаживаясь, добраться от самого сердца Монголии до Темзы. Доехать автобусом, скажем, из Пекина до Улан-Батора и сесть там на пароход. У меня голова пошла кругом. Ведь это безумец, но его безумие стоит много здравого смысла! В глазах у него светится терпение, в мозгу кипят новые идеи, проекты. Все, о чем он рассказывал, и еще многое сверх того уже осуществляется. Мед и железо, уголь и молоко — сразу и Египет и Бирмингам. Область отдаленная, за нее только что принялись. Но погодите, вы еще увидите, что будет! Сколько они успели бы сделать, если бы не война, в разгар которой Советский Союз выпускал тридцать тысяч танков в год, если бы не три миллиона погибших советских людей! Потери огромны, нельзя о них не

горевать, но при мысли о том, какие великие свершения уготованы этой стране, бросает в жар.

В Иркутске, продолжал географ, своя телевизионная станция, а в области сотни тысяч телевизоров. В городе есть три театра, университет, симфонический оркестр, филиал Академии наук. Если уж на то пошло, это же самое можно было бы сказать и о Шеффилде и о Ноттингеме, городах такой же величины. Но сравнивать промышленные города Англии и Сибири просто нельзя. Темпы роста сибирского города феноменальны. Люди выводят формулы, земля эти формулы поглощает: здесь высевают в почву не зубы дракона, из которых вырастают вооруженные воины, а мощные электростанции и заводы.

Иркутск расположен удивительно хорошо: он свободно раскинулся по обоим берегам Ангары. Высокие жилые дома, крапы там, где идет строительство, порт, заводские трубы... Неподалеку поросшие лиственницей горы, и воздух, свежий и чистый, приятно пощипывает щеки. Ниже плотины река еще покрыта льдом, как, по слухам, и озеро Байкал, до которого от Иркутска сорок миль. Я надел купленную в Гибралтаре теплую морскую куртку.

Наша машина выехала из Иркутска и покатила по дороге, по которой в 1890 году проезжал Чехов. Справа от себя он видел Ангару, а я справа от себя вижу огромное водохранилище — море, как называют его в Иркутске. За морем высокие горные склоны, черные от густых сосновых лесов, кое-где белеющие пятнами снега, холодные, неприютные и все еще не оправившиеся после долгой свирепой зимы, тяжелой и для человека и для зверя. Дорога, прямая, узкая, постепенно уходит вверх. Как только достроили плотину, прибрежные деревни, которым грозило затопление, были разобраны по бревнышку и перенесены на более высокое место. Почти у самой дороги несколько деревень: они раскинулись и вширь и вдаль, как все поселения в этом краю громадных просторов и нескончаемых лесов, рек и зим. Летом над водной полосой, протянувшейся на сорок миль между Иркутском и Байкалом, курсирует гидроплан: он мчитя, жужжа, в нескольких футах над водой и несет в себе сотню пассажиров. Таким образом, вместо того, чтобы часа два-три трястись в автобусе, можно добраться до места за сорок минут. Еще недостает хороших дорог, а они уже становятся ненужными.

От океана Байкал отделен несколькими горными хребтами — до ближайшей соленой воды от него полторы тысячи миль. На всем земном шаре нет другого озера, так же далеко

спрятанного в суше, такого глубокого и так заласканного землей. Горы любовно заключили его в свои объятия, питают водой трехсот тридцати рек: каждая капля ее остается в озере на протяжении пятисот лет, прежде чем выскользнуть через единственный выход — реку Ангару.

Дорога сворачивает влево, и перед нами в обе стороны раскинулся Байкал. Сперва он виден неясно. Мы подъезжаем к самому краю, и если бы вода не была замерзшей, можно было бы подумать, что это Тихий океан, что дорога каким-то образом, словно нитка мимо игольного ушка, прошла мимо Владивостока. Но на озере сплошной неподвижный лед, ровный и крепкий, насколько это возможно определить невооруженным глазом. Вспоминаются пустынные серые пейзажи викторианских гравюр: безлюдно, слева и справа нависли поросшие лесами обрывы, утесы, крутые уступы, тающие в тумане, и лежит озеро, уходящее вдаль на четыреста миль — если бы взгляд был способен проникнуть в эту даль или если смотреть в ясный день с реактивного самолета. В молочно-белом, слишком низко опустившемся небе широкие голубые провалы. Ощущение пустынности идет от льда, простершегося до подножия далекого холмистого берега. Ровная пелена толстого заснеженного льда покрывает все озеро, самое глубокое озеро мира. Зимой это имеет свои преимущества: пусть стоят пароходы, но зато во все концы по льду разбегаются дороги. Озеро узкое, но в самые суровые зимние месяцы дороги на нем размечаются знаками. Это необходимо, потому что кое-где лед, несмотря на жестокие морозы, не вполне надежен — будто или теплая струя в ветре, или бурный водоворот внизу не дали льду достаточно окрепнуть и прочно затянуть водяную рану.

Деревня на этом берегу озера называется Листвянка, и здесь находится научно-исследовательская станция Академии наук. При ней имеется музей с большим собранием рыб, животных, карт, моделей, книг, диапозитивов — все, относящееся к рождению, жизни и будущему озера. Как и по московскому Музею Революции и по плотине возле Волгограда, по музею нас водила женщина — у всех этих женщин приятные лица, каждое мило в своем роде. Серьезные, знающие люди. И с чувством юмора, тем более привлекательным, что в них угадывается преданность делу, позволяющая им — но не вам! — пошутить, если какой-либо из экспонатов дает для этого повод.

На берегу под ногами хрустели галька и лед. Над противоположным берегом сгустились тучи.

Вдалеке какой-то человек шел по льду, должно быть, к проруби ловить рыбу или к тюленьим ловушкам. Позади, поднимаемая шумную возню, играли школьники, и все же было тихо-

тихо — вокруг царил такой полный, безмятежный покой, что душа замирала. Мне вдруг захотелось стать отшельником, поселиться где-нибудь там, высоко над берегом, проводить в одиночестве неделю за неделей, жить в хижине. И ничего бы не надо было, кроме ручки, тетрадей, стола, кровати и кедровой ветки, свисающей с потолка. Пережить так, как подобает человеку, и ясные, голубые морозные дни, и непроглядные метели, и мягкие густые снегопады. Прислушиваться к ветру и всем нутром вбирать в себя и снег, и ветер, и тишину...

Говорят, кто не видел Байкала, тот не видел Сибири. Эта огромная трещина — на карте она голубая среди темной ржавчины гор — геологический центр Восточной Сибири, и ученые говорят, что узнать тайну ее образования значило бы получить ключ к происхождению всей Сибири и даже всего азиатского континента. С гор, окружающих Байкал, берут начало все величайшие реки Сибири: Обь, Лена, Енисей, Амур, Ангара. Расположенный на высоте полутора тысяч футов над уровнем моря, Байкал — это саморегулирующаяся силовая станция, дающая Ангаре, а следовательно, и Енисею, мощь, способную осветить множество городов, завертеть колеса множества заводов и фабрик.

Байкал настолько важная веха на сибирской земле, что русские, называя то или иное место, непременно добавляют, что оно расположено «в Забайкалье» или «по эту сторону Байкала». До постройки железнодорожной линии Москва — Владивосток озеро являлось препятствием, бóльшим или меньшим в зависимости от времени года. Сейчас, едешь ли поездом, автомобилем или летишь самолетом, Байкал — это веха, вечный призыв идти вперед, внести свою долю в преодоление пустынности этих краев. Восхищаясь его красотой и девственной нетронутостью, я все же хотел бы увидеть на его дальних берегах, едва приметных даже в разгар ясного дня, цепочки новых городов, а на освободившейся ото льда воде — вереницы прогулочных пароходов и катеров.

Некоторые места за озером превращаются в курорты. Туда ездят отдыхать, разбивают там палатки, ставят деревянные дома, ловят форель, лазают по горам, отправляются в походы и порой встречают в тайге научные экспедиции, возвращающиеся из глубины лесов с новыми сведениями о природе и богатстве края.

На ледяном море за деревней — следы зимних дорог и троп. Все один сплошной лед. Кое-где на нем образовались швы, белые горки — снежные опухоли, и заиндевшие бугры, — быть может, погребальные курганы байкальских осетров, которые живут по три сотни лет.

По льду, теперь не совсем надежному, идет человек. Идет куда-то далеко, пробирается в какую-нибудь деревню на том берегу — этот переход займет у него два дня. А может, он идет дальше, к подножию покрытых снегами гор, или даже еще дальше, туда, в голубые, далекие, самые пустынные на всей земле горы.

Железная дорога на юго-западном берегу лепится по обрыву. Из Листвянки я гляжу на старую дорогу — прежде она была частью главной железнодорожной линии, доходящей до Култука. Кажется, будто неимоверно громадная рука рассекла горы, чтобы дать место озеру, и грубо расшвыряла во все стороны землю и камни — такова прибрежная полоса, и строить здесь железнодорожный путь было труднее, и обошелся он дороже тех, что приходилось прокладывать на норвежском побережье. На пятьдесят миль — четыре мили туннелей. А тот берег озера сырой и болотистый, со множеством речек, там пришлось строить свыше двухсот мостов.

Зимой холодная, твердая, кремнистая земля уподобляет себе и воду. Но лед придает ей величие, гордое великолепие, мягкий, зовущий блеск затерянного мира, который предстоит открыть.

Строить на земле таких необъятных просторов да и вообще на какой бы то ни было земле — значит побеждать созданное человеком представление о собственной смерти. В этих мыслях нет ничего печального и не может быть здесь, у этих гор, грандиозным силуэтом встающих за Ангарой. Когда люди заполняют вокруг себя пустые пространства, они делают то же, что хочет сделать человек, обнаруживший в себе обширные пустоты невежества. Цивилизация растет, когда желание это становится непреодолимым и одновременно имеются средства для его осуществления.

В нескольких милях от Иркутска построена плотина гидроэлектростанции — гигантская изогнутая стена сдерживает Ангару, которую здесь подталкивает мощное плечо озера Байкал. Это сооружение вырабатывает двенадцать биллионов киловатт энергии — количество, достаточное, чтобы обеспечить двенадцать таких городов, как Иркутск; линии высоковольтных передач несут ее многим промышленным городам вокруг. Прежняя поверхность реки оказалась на глубине ста футов. По плотине проходят шоссе и железнодорожный путь; если, стоя у железных перил, глядеть вдоль Ангары в сторону Иркутска, можно различить дома, заводы, столбы, краны доков, но сквозь завесу сибирской утренней дымки все кажется неясным и таинственным. Внизу вода зеленая, дальше она голубая. По другую сторону плотины она замерзла, но с приходом весенних дней лед становится прозрачно-белым.

Внутри, в зале, где расположены генераторы, на почетном месте висит портрет Ленина. Г. Дж. Уэллс назвал Ленина «кремлевским мечтателем», и многие советские рабочие, с которыми мне приходилось встречаться, с удовольствием напоминали мне об этом. Однако после своего вторичного, в 1934 году, посещения Советского Союза Уэллс все меньше и меньше заговаривал о «мечтательности».

Оборудование для плотины пришло из разных концов страны: турбины из Харькова, генераторы из Новосибирска, индукторы из Ленинграда, распределители из Узбекистана, контрольные панели из соседнего Ангарска, краны из Донецкого бассейна. Я все вижу перед собой лица русских рабочих, прорабов, техников, и они напоминают мне лица рабочих с английских заводов. Почему это производит на меня такое впечатление, что я упоминаю о нем даже здесь?

В номере у меня по белому полю подоконника медленно движется сибирский комар — длинноногий, тонконосый, верткий, хищный. Зиму он провел внутри двойной оконной рамы, окончел там, но не настолько, чтобы умереть. Питался пылью, плесенью и подобными себе мелкими тварями. Я открыл внутреннюю раму, и он свалился на подоконник, опьянев от комнатного воздуха — теплого, свежего, сулящего жизнь. Ну нет, это тебе не тайга, говорю я ему, не снег и болото, не ледяные реки, сосны, березы и ели, не тигры и косолапые медведи — это теплый подоконник, с которого ты время от времени взлетаешь на несколько дюймов к оконному стеклу. Гидростанция на реке, тут поблизости, доберется до тебя со своими бесчисленными биллионами киловатт: вместе вам в этой стране не ужиться.

Озеро казалось более суровым и таинственным, чем в тот раз, когда я смотрел на него из Листвянки. Монголы называют его Буй-куль, что значит «богатое озеро», или даже Далай-нор — «священное озеро». А у бурят оно называется Бай-гал — «жилище, охваченное пламенем». Вдоль тысячи миль его дальних берегов — бухты, дельты, обрывы, острова, которые внушали суеверный страх. Селений там, а особенно к северу, куда не доходит железная дорога, очень мало, и тишину нарушает только громахание грома да гул рек, обрушивающих в озеро свои прозрачные струи. Заводы и электростанции нарушат эту тишину и безлюдье.

Слюдянка — город с сорокатысячным населением. Мы зашли в книжный магазин, битком набитый народом, — конец субботнего дня. Суббота — короткий рабочий день, все заводы

уже закрыты. Но на мраморном карьере работа продолжается, и мы зашли к директору. Наверное, мы оторвали его от семьи, от домашнего очага, но он встретил нас приветливо и хотя был уже в праздничном костюме, предложил показать нам карьер. У него лицо умного, степенного заводского рабочего; карие глаза, смуглая кожа, волосы зачесаны назад. Говорил он мало, ограничивался объяснениями устройства механизмов и процессов работы.

К карьере надо было добираться по плоскому дну узкой долины. Темнело. Нависали тучи, дорога была грязная; жидкая красная и белая глина заляпала машину. Влажные, сыкотные ветры с озера превратили мраморную пыль в неаппетитное мороженое. Склоны гор казались черными, края туч задевали вершины. Дорога свернула в сторону, узкоколейка с вагонетками скрыла за собой узкую речку. Брызги грязи на ветровом стекле были словно расплюснутые желтые муравьи.

Через полчаса мы оказались возле карьера, высоко в горах, у места слияния двух речек. Гигантские машины на гусеничном ходу отодвинулись от изгрызанного мраморного обрыва, запыхтели и двинулись к своей добыче. Свирепно куснув ее, они отвернулись, будто досадуя, что добыча слишком мала, и с урчанием выплюнули мрамор в поджидавший грузовик. Грузовик отъехал, другой занял его место, и машина снова яростно впилась в мраморный бок горы. В начале разработки карьера сюда приходили поглазеть на машины огромные сибирские медведи.

Я подошел к краю уступа и поглядел вниз. Земля качнулась у меня под ногами. Меня окликнули — стоять тут было опасно. Мрамор многоцветный — розовый с бежевыми прожилками, голубой, белый с голубым — свадебные и кондитерские тона. Я подобрал несколько обломков, сунул их в карман плаща, чтобы привезти их с собой в Лондон. Шероховатые куски, мрамор мягкий, но тяжелый, сияют и поблескивают наполовину скрытые кристаллы. Я поднимаю еще один обломок и нюхаю его. Даже мокрый, он пахнет только байкальским льдом, ветром и пустынностью только что проложенной сибирской дороги — другими словами, он не пахнет вовсе. Это безлюдье и глухомань наталкивают меня на несуществующие сравнения. Это все равно, что приложить к уху морскую раковину и сказать, что слышишь море. Его не слышно, но должен же ты что-то слышать, пусть только биение собственной крови.

Но прикосновение куска мрамора к моим губам и его воображаемый запах остались для меня символом Байкала и Сибири. В нем было все: кедры, тополя, вишневые сады, ольха, сибирские яблоки; земляника, малина, черника, дикая сморо-

дина; чайки, цапли, бакланы; осетр, омуль, хариус и байкальская рыба голомянка, живущая на глубине более двух тысяч футов. От мрамора шел запах снега, лежащего среди деревьев, снега, хлопьями падающего с растопыренных веток, достаточно крепких, чтобы удержать на себе тяжесть значительно большую, чем та, которую они с себя стряхивают.

Нагруженные грузовики спустились в долину, отвозя плиты и глыбы мрамора туда, где его будут дробить.

Я заглянул в желоб, куда сбрасывают мрамор,— широкая щель, похожая на отверстие почтового ящика. Пока мрамор движется вниз, его куски с отчаянным стуком и грохотом ударяются о два толстых стальных листа, которые дрожат, качаются, движутся навстречу друг другу, но не соприкасаются. Посреди желоба во всю его длину тянется, покачиваясь, цепь, чтобы камни в этом широченном почтовом ящике не сбивались в кучу и не получалось затора.

Я сошел вниз и увидел, что человек в высоко помещенной кабине сбрасывает мраморную крошку, которую опускают в грузовики; те повезут их в Слюдянку, к поджидающим их там железнодорожным составам. Я стоял среди поворачивающихся во все стороны грузовиков под гремящими цепями машин над ними, среди грузовиков, уже груженных мрамором,— вид у них был устрашающий, когда они двигались прямо на меня. Я убрался с их дороги, прошел под другой движущейся цепью. Директор карьера крикнул мне, чтобы я был осторожнее,— он не знал, что чувство самосохранения у меня не исчезло и после того, как я перестал работать на заводе. Грохот грузовиков, лязганье цепей, ритмическое содрогание земли под ногами, удары машин о мраморную стену, пляска конвейеров, сортирующих мрамор, преследовали нас всю дорогу, пока мы спускались по извилистой дороге.

Братск

Я в одномоторном биплане «АН-2», лечу на высоте одной мили над сибирской тайгой. В тесной кабине нас десятеро, сидим у стенок друг против друга, по пяти в ряд. У двери стоит хорошенькая молоденькая стюардесса, а впереди два пилота следуют через голубые небесные просторы к Братску по невидимым путям, проложенным компасом. Чтобы разглядеть тайгу, я тянусь к маленькому окну, изо всех сил выворачивая шею. И все-таки сидеть мне удобно. Земля внизу кажется необъятнее неба.

Наш курс — северо-северо-запад; до плотины триста шест-

надцать миль. Самолет идет со скоростью ста двадцати миль, степенный, надежный, уютный. И все это словно семейный пикник: стюардесса оделяет всех конфетками, и за едой особых разговоров не заводят, как оно и полагается в дисциплинированном семействе. Приятная, неторопливая поездка без всяких приключений.

Самолет качает. Единственные признаки жизни — полосы на заснеженном льду. Но вот я различаю дорогу, она, несомненно, проложена на твердой земле — на мысе или острове: отчетливо видно, как темная лента извивается среди деревьев. Это шоссе, деревья по обеим его сторонам стоят редко. На севере туман в долинах густеет. Под нами разбитый на квадраты большой город. Окутанный дымом, движется поезд.

Мы миновали водное пространство, оно осталось южнее, и снижаемся к ясно различимым берегам сузившейся Ангары. Ее перерезает плотина, удерживая позади себя озеро или море, над которым мы только что пролетали. Длина плотины от берега до берега — пять километров, а высота — триста футов. По гребню ее движутся цепочкой краны. Сам Братск — жилые кварталы, заводы — почти скрыт туманом.

Самолет описывает круг над лесокombинатом. По земле раскиданы стволы сосен, словно кто-то рассыпал с десятков спичечных коробков. Но стволы огромны, они коричневые, очищены от веток и готовы для лесопилки. На посадочной площадке стоят три вертолета.

Аэродром — расчищенная среди леса бурая, глинистая площадка, похожая на болото. Шасси дрожит, когда самолет делает крутой поворот, направляясь прямо к огромным круглым лужам. Вдруг он сейчас нырнет по самое брюхо? Нет, не нырнул. С гулом и грохотом он понесся над площадкой, потом протаранился по ней и, наконец, встал, по самую ось засадив колеса в воду. В момент приземления мотор взревел, будто треснуло его металлическое легкое; красноватая грязь обрызгала нижнее крыло.

Мы понесли свои чемоданы к аэровокзалу. Нас ждал автобус, совсем новенький. Он двинулся по недостроенной дороге — с буграми, ухабами, рытвинами, грязью — смерть грузовикам. Вдоль дороги их кладбище: небольшой клочок земли и на нем деревянные столбики и ограды — голубые, зеленые, красные. И нигде ни одного креста. Мне это нравится. Ненавижу кресты всех видов: католический, православный, изломанный крест свастики. Крест — безобразный символ, он внушает страх, знаменуя унижение, гонение, отсталость и страдание. А здесь — ни одного креста.

День на славу — ясный, прозрачный, морозный. Двухэтажные деревянные дома вдоль немощенной, обсаженной деревьями улицы покрашены в различные цвета. Как обычно, они поставлены далеко друг от друга. От улицы веет свежестью, будто ее только что выстроили из тех самых деревьев, которые пришлось вырубить, чтобы очистить место для домов. В некоторых из них школы, магазины, клубы. В одном помещается ресторан, куда нас и повели.

Повсюду ребяташки, маленькие толстощекие сибиряки в меховых шубках и шапках, в теплых валенках. Они гикают вдогонку автобусу, машут ему на прощание, отрываясь от футбола или игры в «классы». Некоторые лишь молча, очень внимательно смотрят. И дело не в том, что они еще не привыкли к жизни, вернее, их ошеломляет город, растущий с каждой неделей. Нет, неверно, это мысль человека, родившегося в маленькой стране. Их живые серые глаза — глаза детишек, но они унаследованы от поколений людей, смотревших в глухую тайгу, или в широкие пыльные степи, или по шести месяцев в году в бескрайние снежные просторы. Из таких людей получают отличные инженеры.

К нам присоединился американский фотокорреспондент вместе со своим переводчиком, и теперь в новеньком сорокаместном автобусе нас шестеро. Я не слишком обрадовался встрече с человеком, для которого родной язык — английский, и, наверное, американец за время краткого своего пребывания в нашей гостинице составил себе не очень высокое мнение о моей общительности. Все же, обедая за общим круглым столом, мы не раз чокались рюмками с водкой.

Водитель, казалось, считал, что дороги еще не изобретены. Гостиница, окруженная редкими деревьями, — в ста ярдах от шоссе. Я полагал, что он остановит машину у обочины, мы вылезем и пойдем дальше пешком. Не тут-то было. Машина переехала за обочину, сползла по насыпи и затем лихо пронеслась между парой стволов; я не сомневался, что от ее блестящей голубой краски на боках ничего не останется. Но он, как видно, проделывал это не в первый раз. Машина подкатила буквально вплотную к цементной плите у входной двери, и благодаря его ловкости нам не пришлось ступать ногами в грязь. У него жена и двое ребяташек. Мне думается, он убежден, что работа у него легкая: целый день возить нас, праздных ротозеев. Пока мы осматриваем спортивный зал, школу, плотину, клуб или детский сад, он может подремать за рулем или почитать книжку.

Мы стоим на краю мыса и смотрим на плотину; отсюда она кажется даже еще длиннее, чем на самом деле. День воскрес-

ный, поблизости прогуливаются пары. Они целиком поглощены величественным зрелищем — делом своих рук — и не замечают нас. Плотина притягивает к себе взгляды тех, кто вложил в ее создание годы нелегкого, однообразного труда. Теперь они стоят на солнышке, указывают друг другу то на одну, то на другую деталь сооружения.

Внизу, в ущелье шириною с милю, на берегу реки бутылочно-зеленого цвета стоит голый пловец. Вот он нырнул в ледяную воду, поплыл по течению и скрылся из виду. Позади него посреди реки большие и маленькие плоские островки, словно бесформенные олады; на некоторых снег. Ниже по течению реки он лежит сплошным покровом, уходящим за горизонт. Пловец был близко от берега, но вылезать не стал. Все его видели, и почти никого он не занимает, все смотрят только на плотину.

Плотина всегда представляет собой внушительное зрелище, если бетонная стена соединяет угрюмые, скалистые берега. Но здесь плотина подавляет берега, они кажутся почти незначительными, она подминает их под себя и разворачивает «фронт» в пять тысяч ярдов. От шоссе и железнодорожного пути на ее верху и до низа наклонной стены, уходящей в воду, расстояние в триста футов. Общая ее длина — три мили. Я смотрю на бетонную стену, которую к тому же венчает добрый десяток гигантских кранов, и меня пробивает дрожь — особенно потому, что я стою на берегу реки и гляжу на плотину снизу вверх.

Мы движемся, точно муравьи, между ногами кранов и знаем, что внутри этой громадины мощные генераторы вырабатывают несчетные миллиарды киловатт, а позади нее — море, которое она сдерживает. Еще никогда не был я так потрясен грандиозностью масштабов. Однажды в Саутгемптоне мне показали океанский лайнер «Куин Мэри». Я видел его прежде на фотографиях, и действительность меня разочаровала, едва я сравнил его с другими, стоявшими вокруг судами. Гибралтар торчал из серого моря, как обыкновенный вмерзший в воду валун, когда в одно январское утро я шел по перешейку, соединяющему его с заснеженной Испанией. Казалось, английские тучи, нависшие над скалой, придавили ее и приплюснули. И соборы оставили меня равнодушным: Кентербери, Пальма, Гранада, Нотр-Дам — ветхие, ничтожные, бесполезные и для меня духовно мертвые.

Я стоял на гребне плотины, смотрел вниз на Ангару, на зеленые и белые острова, на водосливы у обоих ее краев, широко расставленные, будто сильные руки, освободившие эти острова. Я представил себе реку такой, какой она была до по-

стройки плотины. Первые партии строителей, прибывшие сюда в 1955 году, еще видели лис, медведей и лосей. Тогда здесь был поселок с населением в две с половиной тысячи душ. Старый Братск с его бревенчатыми домами был основан в 1631 году у речных порогов, в двадцати пяти милях от теперешней плотины. Он уже давно под водой. Две сторожевые башни семнадцатого века были разобраны по бревну и снова сложены на высоком месте. Теперь это памятники старины в Новом Братске.

Нужно было расчистить лесные чащи — бульдозеры валили деревья, тракторы вытягивали из земли их корни. Необходимые материалы и продовольствие доставляли из Тайшета по железной дороге, а также на грузовиках по трудным дорогам из Иркутска. Использовали и речной транспорт, и позже стало возможно переправлять грузы самолетами. Новый Братск был официально заложен в 1955 году, а теперь в нем сто семьдесят тысяч жителей.

Вначале одной из очень сложных проблем, которую упомянул каждый, с кем мне здесь пришлось встретиться, были комары. Неистовая, ядовитая мошкара мучила людей, и отделаться от нее удалось только в последние два-три года. Сетки на окнах, сетки вокруг кроватей — ничто не помогало. Стоило лечь спать под сеткой, и комары облепляли ее таким густым, непроницаемым слоем, что можно было задохнуться. Тайгу опрыскивали с самолетов. Из Москвы привозили противокомариные жидкости и мази. Все было испробовано. Темпы работы на плотине снизились. И тут болота опрыскали каким-то новым химическим составом, и на следующий год комаров не стало. Подлинное бедствие было наконец преодолено. Администратор гостиницы сказала мне:

— Наука по-настоящему чудесна, когда она помогает добиваться таких вот вещей. Обидно, что нам приходится думать также и о возможной войне.

Один из огромных кранов двинулся — каждая его нога была выше меня ростом, — и я отскочил в сторону. Инженеры на плотине в среднем не старше тридцати двух лет. Главному инженеру — тридцать шесть. Сопровождавший нас инженер быстро чертил схемы в моей записной книжке, объясняя последовательные стадии строительства. Братская плотина — самая большая в мире. Но на Енисее, возле Красноярска, уже строится другая, еще больше этой. Ленин писал: «Электрификация переродит Россию. Электрификация на почве советского строя создаст окончательную победу основ коммунизма в нашей стране, основ культурной жизни без эксплуататоров, без капиталистов, без помещиков, без купцов».

Мощь, свет и энергия, и через Братскую плотину — лозунг

из огромных букв, он протянулся на целую милю: «Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны». Он повсюду, этот лозунг, на каждой плотине, на каждом заводе, в залах собраний — быть может, это несколько однообразно, но здесь, в бескрайних сибирских просторах, он имеет реальное значение.

Эта электростанция, в строительстве которой участвовало сорок тысяч человек, — памятник двадцатого века великим материалистам-атеистам русской революции, памятник идеям равенства девятнадцатого века, из которых она родилась. Ночью, когда горят огни, с воздуха плотину видно за сотню миль, и, когда самолет подлетает ближе, первое, что читает глаз, это ленинский лозунг, словно припиленный громадными кранами, стоящими на гребне плотины.

Мы спустились ниже, почти к самой воде. Из всех водосливов с бешеной скоростью несется вода, над этими водопадами дрожит радуга. Инженер шутит: вот, строили плотину, а выстроили радугу.

— Мальчишкой, — говорю я, — я думал, что только бог умеет делать радуги.

— Ну, как видите, Ленин тоже сумел, — ответил мне инженер.

Я побывал в кабинете заместителя председателя горсовета Василия Рудых. Присутствовал и заведующий отделом народного образования. Рудых рассказал мне, что в Братске во всех домах центральное отопление и двойные рамы и что канализационные трубы приходилось прокладывать под землей на глубине десяти футов. Я спросил, что делают здесь люди в долгую зиму. Он улыбнулся.

— Ничего, не скучают. Занимаются зимним спортом — лыжи, коньки. Братское море очень для этого удобно. Кроме того, в городе много красных уголков и клубов, они пользуются большой популярностью. Там люди с общими интересами объединяются в кружки. И, несмотря на морозы, в Братске ясных, солнечных дней больше, чем в Крыму. Может, этим и объясняется низкая смертность в наших краях. Еще Чехов указывал, что сибирский климат очень здоровый. Уже закладывают новую плотину в Усть-Илимской, это в двухстах милях к северу отсюда. Кое-кто, закончив работу в Братске, переходит туда. Там начали прокладывать через тайгу дорогу. Это сопряжено с большими трудностями: дорога тянется через овраги, горы, реки, болота. Когда плотина будет готова, там народу останется мало, только обслуживающий персонал. Промышленного города вроде Братска строить не станут. Поэтому возникает вопрос: есть ли смысл проводить туда доро-

гостящее шоссе? Не заменят ли его вода и воздух? Возможно. Сейчас ведутся опыты с воздушными кораблями, старыми, вышедшими из употребления в тридцатых годах дирижаблями. Они могут пригодиться. Современные газы устраняют опасность взрыва, а перевозка на них тяжелых грузов обходится чрезвычайно дешево. Но дорогу все же продолжают строить. Может, эта идея возрождения дирижаблей будет использована на других строительствах, в необжитой глуши — их у нас впереди еще много. Все, кто работает в Братске, получают ежегодный оплачиваемый отпуск в тридцать шесть рабочих дней вместо обычных двадцати четырех и бесплатный проезд в любой конец Советского Союза для проведения этого отпуска. И в отношении снабжения Братск находится в привилегированном положении. Здесь можно достать то, что не всегда найдешь в Москве. Транспорт хороший. В летнее время поезд на Москву ходит через день, поезд в Красноярск — ежедневно, так же, как и самолеты в Иркутск и в Москву. До Иркутска можно добраться и водой, туда ходят пароходы «Сибирь», «Карл Маркс» и «Советская Бессарабия». В городе свыше девяноста школ, в них обучаются двадцать семь тысяч человек: в это число входят и взрослые учащиеся вечерних школ и техникумов. Можете себе представить, сколько нам пришлось потрудиться начиная с 1955 года, чтобы организовать все это. У нас работают полторы тысячи учителей, преподаются два иностранных языка — английский и немецкий. В Братске живут люди пятидесяти различных национальностей. Мы стараемся привлечь к учебе как можно больше народу — это тоже в известной мере ответ на ваш вопрос, чем занимаются люди зимой. Советская система ставит своей целью выявить «рациональное зерно» в каждом индивидууме, как можно лучше реализовать таланты, заложенные в народных массах. Конечно, страна не могла бы развиваться, не будь у нее этих ресурсов, это верно, но одновременно это и наша политическая установка.

Спустились сумерки. Окно моего номера выходит на Братское море. На западе небо над темнеющим льдом розовое, выше оно цвета меда. Замерзшее море гладкое, голубовато-белое: то как цельное молоко, то как снятое. Когда достроят плотину, большой участок земли рядом будет затоплен, вода подойдет почти вплотную к саду гостиницы, море поднимется на сотню футов и разольется еще дальше по низинам тайги. Странное это ощущение — чувствовать, что ты находишься в самом сердце Сибири. Братск стоит в далеком краю. Ночь не спешит с приходом.

Гладкий, белый лед все еще ясно виден в неполной

ночной тьме. За морем низкие, темные горы и над ними черно-синее небо, лиловато-розовые просветы дают ему глубину. В ночном мраке много оттенков, от синего до черноты эбонита. Из-за моря доносится собачий лай — извечный, везде и всюду раздающийся лай, ломающий тишину и молчание. Сейчас все ужинают кто где: у себя дома, в общежитии, в столовой. А вода все всасывается в плотину, бешено вращает турбины, вырабатывая миллионы киловатт, и затем несется вниз, в непроглядный мрак ночной реки.

В дикую глушь принесли свет. Эти люди пошли войной на природу и оттягали у нее часть ее владений. Они выгнали бога из его логовища, высмеяли его плодотворным трудом и трезвостью ума, ослепили светом более ярким, чем когда-либо давало христианство. Русские говорят «до революции» и «после революции», как в Англии говорят «до или после рождества Христова». На самом верху плотины развевается небольшой красный флаг. Удивительная это мысль, что в последней войне на земле победит мир. Сибирь порождает оптимизм.

Мы походили по городу, утром побывали в двух школах, рабочем клубе и детском саду, а вечером — в техникуме, кино-театре и драматическом кружке. Солнце пекло, небо полыхало голубым пламенем, и хотя рядом было замерзшее море, я успел загореть больше, чем за целый год в Марокко. В одном классе на уроке английского языка я спросил пятнадцатилетних школьников, кто из английских писателей им особенно нравится. Они называли Голсуорси, Джеймса Олдриджа, Дж. Пристли, Грэма Грина. Мы вели разговор по-английски. Одна девочка спросила, учатся ли цветные дети в Англии вместе с белыми или отдельно, и я объяснил, что в наших школах нет цветного барьера. Ученики были самых разных национальностей — русские, буряты, армяне, казахи.

Школа, если брать английские стандарты, хорошо оборудована. Образование в стране обязательное. С семилетнего возраста каждый идет в школу и должен окончить восемь классов. После школы они могут идти работать, но их рабочий день всего четыре часа, остальное время они учатся дальше, приобретают квалификацию, становятся токарями, шоферами, механиками или электриками. Я заходил в класс, где мальчики трудились у токарных, фрезерных и сверлильных станков. Такое количество прекрасного оборудования, какое было там, мне приходилось видеть лишь на хороших заводах. На уроках столярного дела к услугам учеников строгальные станки, ленточные и круглые пилы, тиски. В школьной электрической

лаборатории я увидел инструменты, названия которых не знаю, в этих вопросах я разбираюсь плохо. Мальчики расспрашивали меня об английских школах такого же типа. Пришлось ответить, что мне о них мало что известно. Я рассказал, какой была школа, когда я был мальчишкой много лет тому назад, и добавил, что с тех пор многое изменилось.

В Братске мне не попалось на глаза ни одной церкви, но факт этот дошел до моего сознания, только когда я вернулся в Лондон. Пока я находился в Братске, я не замечал отсутствия церквей, хотя, может, в городе церковь все же имеется.

На стенах школьных коридоров — «стенгазеты», отпечатанные на пишущей машинке или писанные от руки и пестревшие рисунками самих учеников. Школьные новости, статьи по разным вопросам, отдел корреспонденции, обычно под особым заголовком или чаще — лозунгом.

Они были посвящены дню рождения Ленина, и темой их было «Ленин всегда с нами». Во второй школе я зашел в первый класс, где семилетние малыши сидели за партами и вклеивали в альбомы картинки, относящиеся к жизни и деятельности Ленина. Один из альбомов уже был отмечен как наилучший, и я получил его в подарок. Это толстая книга с плотными листами. На первом золотыми буквами надпись: «Ленин — наш учитель и друг». Внизу цветная картинка: Ленин (очевидно, уже после революции) сидит на скамье в парке. Рядом с ним маленькая девочка держит котенка. Ленин положил ей руку на плечо. Около них стоит мальчик, читая книгу, и они слушают его с живым интересом. В альбоме есть фотографии родителей Ленина, на одном семейном снимке — Александр, старший брат, повешенный царским правительством как террорист. Смерть его оказала огромное влияние на жизнь Ленина.

Горький писал: «В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастьям, горю, страданию людей... Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастьям людей, его яркая вера в то, что несчастье не есть неустраняемая основа бытия, а мерзость, которую люди должны и могут отвести прочь от себя».

В доме через дорогу — детский сад. Детей уже накормили и уложили спать. Прежде чем впустить в спальню, меня заставили надеть белый халат и марлевую маску. В комнате для игр у каждого отдельный шкафчик, помеченный рисунком — цвет-

ком или животным: читать малыши не умеют. Здесь лепят, строят из кубиков, вырезают из бумаги — обычные занятия. Во дворе детвора карабкается по лесенкам, забирается в фанерные домики, лезет на карусели, играет возле большого деревянного макета спутника, устремленного в небо.

Встав у самого порога длинной комнаты, я едва осмеливаюсь дышать через маску, чтобы нечаянно не разбудить спящих или не занести им из Европы какую-нибудь инфекцию. Кроватки стоят тесными рядами, дети спят в рубашонках. В комнате тепло, некоторые покрыты только простынками, отовсюду торчат голые руки и ноги. Сорок спящих детей уложены в постели для ежедневного полуторачасового отдыха, к которому они приучены. Один глаз открылся и глянул на меня. Как ни старались мы не нарушать тишины, все-таки нас почуяли, услышали. Мне хотелось уйти: как-то глупо вторгаться в чужую жизнь, с таким явным намерением посмотреть, как люди живут. Они живут хорошо, все у них о'кэй. Детей в этой стране боготворят. Ни при каких обстоятельствах их не подвергают в школе телесному наказанию, как это случается в Англии. Здесь это невозможно, полностью исключено.

В конце комнаты на стене портрет Ленина в раме. Политический деятель с бородкой и в рабочей кепке любовно охраняет покой этого приюта невинного детства. В глазах легкая усмешка, но губы твердо сжаты, как будто, глядя на детей, он вспоминает погибшего брата, когда-то вот так же мирно спавшего в детской кроватке в такие же тихие дни.

Я вторгся в класс вечерней школы, и изучение технических наук на этом уроке далеко не пошло. Вместо того, чтобы продолжать занятия, ученики принялись задавать мне вопросы, потом отвечали на мои. Через десять минут комната, вначале наполовину пустая, оказалась битком набита юношами и девушками в возрасте лет семнадцати и старше — среди них было несколько и совсем взрослых. Во всем чувствовалась атмосфера «вечерней школы», девушки принаряжены, на молодых людях их обычная в нерабочее время одежда: пиджак и брюки, но без галстука. Кое-кто в свитере. Когда слышишь, что в Сибири возник новый город, думаешь: «Измумительно! Невероятно!» — и видишь перед собой здания и заводы, выросшие как по волшебству. Но как бы широко ни применялась современная техника (в Братске свои фабрики сборных и крупноблочных домов), требуется время для прокладки канализационных труб на каждой улице и время на то, чтобы собрать и поставить дома. На все требуется много времени, мускульной силы, энергии. Чего стоит одна перевозка на грузовиках и по железной дороге сырья из мест за сотни миль отсюда. Чтобы

все было реализовано, необходимо учить этих молодых людей в вечерних школах, необходимо давать им технические знания, которые в первую очередь и сделали возможным строительство в этом далеком краю.

Я обратился к нескольким учащимся с вопросом: что их привело в Братск? Одни, главным образом девушки, сказали, что услышали об этом строительстве, и мысль о нем их увлекла; они читали о нем, приехали сюда, им здесь понравилось. Некоторые признались, что их соблазнила высокая оплата труда, но полюбили Братск и остались, не захотели возвращаться в те города, где жили прежде. Некоторых девчонками и мальчишками привезли сюда с собой родители. А двое-трое заявили, что любят колесить по стране: может, потом, когда строительство здешней плотины будет завершено, они переберутся в Красноярск или Усть-Илимскую.

Я спросил, долго ли приходится ждать комнаты или квартиры молодоженам. Мне ответили: «Всего несколько месяцев, не больше». Молодежь живет в основном в общежитиях, их в Братске много. Большинство покидает их, только когда женится. А женятся все, рано или поздно.

Я поинтересовался, какие они находят здесь развлечения. Летом часто отправляются в тайгу на весь выходной день, а то и на несколько дней, во время праздников, и живут там под открытым небом. На майские дни была намечена большая экскурсия, и одна из девушек пригласила меня присоединиться к ним. Они все будут очень рады, сказала она, если и я тоже пойду. Я ответил, что, к сожалению, должен скоро возвращаться в Москву, но мне бы очень хотелось пойти с ними. Они сказали, какая жалость... Я тоже сказал, какая жалость; может, когда я в следующий раз приеду в Братск...

Нескольких я спросил об их специальности. Среди них оказались электрик, шофер, разнорабочий, машинистка, лаборант. Они работают по семь часов в день. А вечером учатся.

Эта молодежь заставила меня вспомнить мои дни работы на заводе, потому что мне тогда тоже было семнадцать и энергии у меня, как и у них, было хоть отбавляй. Уйдя с завода и уехав из промышленного города, я утратил эту большевистскую энергию. А эти люди будут и дальше жить в обществе, где их поощряют к тому, чтобы они учились, ибо такова официальная политика страны. И в них эта энергия сохранится. И я почувствовал в них ту же силу, которая помогала мне в течение десяти лет, пока я стремился стать писателем и не встречал нигде ни поддержки, ни поощрения. Этот город молодежи дышит энергией и снова и снова напоминает мне о моей юности. Каким-то странным образом, заглядывая в будущее или, быть

может, соприкасаясь с ним, я возвращаюсь к своему прошлому. Но, мне думается, если бы я продолжал оставаться заводским рабочим, я не испытывал бы сейчас тоски. Я просто ощущал бы свою близость с ними.

Я вижу столько людей, со столькоими разговариваю, что кажется, будто я в Братске уже много недель и не один год живу в Советском Союзе. Лондон, Англия, моя семья, мое прошлое — все сметено бесчисленными и ошеломляющими впечатлениями, деревьями, ветром, машинами, льдом и строительством. В Братске говорят: «Здесь мы ставим дома», или «Мы пускаем новый завод», или «Мы построили плотину». А в Англии всегда слышишь только: «Говорят, в будущем году они собираются строить муниципальные дома». Если бы я спросил рабочего в Ноттингеме: «Что это вы тут строите, приятель?» — он бы ответил: «Да вот они хотят ставить электрическую станцию» или «Они опять строят новые конторы». В Советском Союзе я ни разу не слышал, чтобы мне сказали «они», все здесь говорят «мы», будь то писатель, заместитель председателя горсовета, боксеры в спортивном зале Братска, водитель такси, студент, работница, выкладывающая плитками пол в помещении электростанции в Волжске. Настолько-то я знаю русский язык, чтобы уловить разницу между «мы» и «они», «нас» и «их».

Под свирепым ветром лед темнеет. Весенняя пора. Теперь, когда льду грозит гибель, полосы троп и дорог на нем становятся отчетливее, будто едва приметное начало оттепели коснулось нижних слоев и под верхней ледяной корой оказалась талая вода. По ночам я вижу сны — вероятно, потому, что много езжу, а может, новизна обстановки снимает один за другим пласты с моего сознания. Здесь я чувствую себя дома, словно приехал на родину после долгих лет скитания по чужим краям. Тревожное, будоражащее чувство, но как писатель я ему рад. Это естественно, если столько разъезжаешь, повторяю я себе. Но все-таки тут что-то другое, уж очень глубоко оно меня задевает.

Тайга велика, горы круты, просторы необъятны. В Братске не сыщешь уроженца старше семи лет. Это новый город, и условия жизни в нем порождают социалистические формы, которые в Европейской части России редко так отчетливо выражены. Сама изолированность их в тайге сближает людей. Русские даже до революции славились своей общительностью, а здесь, в Братске, это свойство становится неплохим средством сохранить жизнеспособность: в далекой глуши люди тянутся к созданному в ней духовным и культурным ценностям, черпают из них сообщая, возмещая этим отсутствие прошлого у этого края.

Вместо прошлого есть теперешний их уклад, который в конечном счете окажется сильнее. Слишком глубокое ощущение прошлого погубило бы их, привело бы к инертности и бесплодным воспоминаниям. Коллективная жизнь — позитивная общественная сила, она дает городу возможность расти и стать крепким, устойчивым организмом. Это вовсе не значит, что здесь живут скученно. В Братске достаточно домов и квартир, но всех объединяет один центр, одна общая идея. Каждый точно знает, какая роль отведена ему в создании города. Этот центр, основная идея — близящееся завершение строительства плотины. Даже для тех, кто начал работать на ней семь лет назад, она все еще притягательное зрелище, они любят ее, гуляя по берегу, созерцают ее величие с уступов Ангарских гор, смотрят на сооружение, политое их потом, огрубившее их руки, забравшее их труд и время.

Для поэта перекрытие такой мощной водной артерии, как Ангара, столь же величественно, как пущенная вокруг Луны ракета. Ангара и Луна обе далеки и негостеприимны. Чтобы одолеть могучую силу реки и грандиозное расстояние до планеты, нужно вдохновенное провидение материалиста.

В день моего отъезда — необыкновенно оживленное сообщение между Братском и Иркутском. Один за одним в Иркутск вылетели восемь самолетов, каждый с десятью пассажирами. На аэродроме стояли и вертолеты — их используют для служебных целей, на трудных строительных участках и как санитарные машины. Пока мы ждали свой самолет, я видел, как один из вертолетов снялся с земли, повис над нами и потом с гулом двинулся за вершины деревьев. Последний раз я видел вертолет в воздухе в сентябре 1960 года — полицейские на нем наблюдали за антивоенными манифестациями на Трафальгарсквере.

Я оказался в седьмом самолете. Пилот сказал:

— С добрым утром, товарищи. Мы полетим на высоте тысячи восьмьсот метров и будем в Иркутске приблизительно через три часа. Сегодня немного болтает, так что, если понадобится, используйте бумажные пакеты.

Все время полета дверь в кабину пилота оставалась открытой.

Одну молоденькую девушку укачало тут же, едва мы поднялись в воздух. После обильной еды и выпитой водки я тоже чувствовал себя неважно, но был поглощен тем, что в последний раз вижу плотину, и жалел, что расстаюсь с нею. Внушительны извилистые, отлогие берега Ангары ниже по течению

и песчаные отмели на усмиренной реке, которую бетонная стена лишила ее половодья.

В Братске я с большим трудом отделался от модного журнала «Вог». В Лондоне мне кто-то сказал, чтобы я непременно захватил с собой пару номеров — в России, дескать, за них готовы отдать правую руку. Правая рука у меня имеется своя, но все-таки я взял несколько журналов в подарок. Мне было совестно предлагать в Братске бывший у меня с собой экземпляр. Сплошные рекламы: молодые женщины, тонкие, как палки, держат в отставленной руке белые перчатки или ведут на поводке подстриженного пуделя; молодые бездельники художнического вида протягивают золотые зажигалки или сигареты или смотрят со страниц, полузадушенные модным галстуком, или в костюме для гольфа стоят, опершись на клюшку. Нескончаемые вереницы штанов для катания на яхте, ночных рубашек, хлыстов для верховой езды. Страница за страницей глянцеви́той бумаги, и все на них ничтожно, пусто, неуместно, нежизненно, фальшиво — бумага слишком плотная, чтобы разжечь ею огонь, слишком гладкая, чтобы использовать ее в уборной. Было бы оскорблением предложить этот журнал здесь, в суровом, бурно растущем городе далекой Сибири.

Так я и оставил его в номере, чтобы его потом вышвырнули вместе с остальным бумажным сором, но в тот момент, когда наш автобус уже трогался, из двери дома выбежала уборщица, крича, что я забыл свой журнал. Что мне оставалось делать? Отречься от него? Еще арестуют за то, что я втихомолку занимаюсь распространением подобной литературы. Сказать, что это, должно быть, забыл американский фотокорреспондент? Нет, она знает, что журнал мой, ведь она нашла его в моей комнате.

— Он мне не нужен! — крикнул я. — Я его уже просмотрел. Выбросьте его!

Автобус двинулся по широкой, не до конца замощенной, обсаженной деревьями улице, а женщина у калитки гостиницы растерянно смотрела нам вслед, прижимая к груди последний номер журнала «Вог».

Снова в Москве

...За три недели Москва заметно изменилась. Когда я видел ее в первый раз, еще всюду была слякоть, грязь, покрытый копотью снег: стаивая, он оставлял угольно-черные полосы, следы зимы.

А теперь пришла весна. Все подсохло, подметено, светло и чисто: улицы — длинные ущелья зазеленевших деревьев, и по-

всюду глаз встречает газоны. Москва изменилась после весенней чистки перед майскими праздниками. Дома выглядят так, будто их вымыли, выскребли, просушили на свежем ветру. Везде красные флаги, звезды, эмблемы, знамена — алая ткань развевается на шестах посреди мостовой, на фасадах зданий. С самых почетных мест смотрят портреты Маркса, Энгельса, Ленина — трех великих братьев или отцов.

Когда я, возвращаясь, летел над Сибирью, мне пришло в голову, что Россия уже не тройка, как писал Гоголь, безудержно мчащаяся по бесконечной степи к неизвестной и страшной судьбе, а воздушный лайнер, летящий в небе по плану и расписанию, управляемый твердой, умелой рукой.

Красные розы, знамена, лозунги вдоль всего прямого шоссе, ведущего к Москве. По сторонам — лесистые холмы. Канал уже очистился от ноздреватого льда, и между его зелеными берегами струится чистая вода. Въезжая в Москву, я заметил, что некоторых уже почти достроенных домов, безусловно, еще не было и в помине в первый мой приезд.

Журнал «Иностранная литература» выплатил мне аванс в пятьсот рублей за мой роман «Ключ от двери». Это составляет приблизительно сто восемьдесят пять фунтов, и мне предстояло истратить их в течение нескольких оставшихся дней. Я пошел в ГУМ — универсальный магазин на Красной площади, огромный двухэтажный пассаж. Я пробыл там несколько часов, нагружаясь покупками так, будто готовился к рождеству. Магазин переполнен: все покупают подарки к Первому мая, поэтому я делал выбор быстро и решительно. Список моих покупок получился длинный, и когда я, согнувшись под тяжестью свертков и коробок, вышел из магазина и направился к такси, я был похож на средневекового мародера с добычей. Здесь очень дешевы пластинки — около семи шиллингов штука вместо наших двух фунтов. Поэтому я купил «Ромео и Джульетту» и «Петю и Волка» Прокофьева, «Ленинградскую симфонию» Шостаковича и несколько сонат и квартетов обоих композиторов. Пластинки весили не меньше тонны. Я купил гаванские сигары, узбекские тюбетейки ручной вышивки, рубашки и блузки. Я увидел подстанники, на них по золоту были выгравированы изображения Новодевичьего монастыря и Кремля. Я хотел купить их целый набор, шесть штук, но их оказалось всего четыре; не слишком гоняясь за эстетическим равновесием, я взял эти четыре. Жене я купил серебряные мундштуки для сигарет, пудреницы и брошки, сыну — громадного сибирского плюшевого мишку горчичного цвета, двадцать куколок в национальных костюмах, веселого, разудалого Ваньку в широких штанах и с балалайкой, надувных резиновых оленей и

матросскую бескозырку, у которой спереди золотыми буквами написано «Космонавт». Еще я купил черную меховую шапку, яркие шкатулки из Палеха и Федоскина, разрисованные художниками, когда-то писавшими иконы, набор намагнитченных шахматных фигур, кошельки, платки, почтовые марки, плакаты на колхозные темы, портреты Ленина, сотни сигарет, книги, авторучку, трубочный табак, фотоаппарат, восемь комплектов пестро раскрашенных матрешек, которые вставляются одна в другую.

В Англии некоторые уверяли меня, что в России нечего купить, но, возможно, им просто ничего не было нужно. Я никогда еще не тратил столько денег за такой короткий срок. И вокруг все покупают, покупают... Трудно пробраться к прилавку. Предпраздничным настроением охвачен весь город.

В Москву приезжает Кастро с сотней кубинцев. Все только о том и говорят. Всюду видны портреты Кастро, лозунги на испанском языке, флаг Кубы.

Предмайское настроение действует заражающе. Это весенний праздник большевиков, официальный конец зимы — самый московский воздух пропитан им, он чувствуется на всех улицах. За три недели я посетил шестьдесят музеев, научных институтов и общественных учреждений, был на шестнадцати театральных представлениях, дал девять интервью, написал две статьи, заполнил заметками пятьдесят больших страниц, разослал десятки писем и почтовых открыток.

Я мечтал побездельничать, но все-таки поехал в Дом детской книги на улице Горького. Издательство «Детская литература», при котором он организован, выпускает в год семьсот названий книг для людей всех возрастов. Директор Дома мне рассказала:

— Каждый день мы получаем от детей двести — триста писем. Мы это поощряем, печатаем в каждой книжке обращение к юным читателям: «Напишите нам, как вам понравилась эта книга». Дети выражают свои мысли с большой прямоотой и не боятся критиковать. Все эти отзывы мы внимательно изучаем, для этого у нас создан специальный отдел, учитывающий также и отзывы взрослых о нашей работе. Высказывая свое мнение о книге, дети попутно многое сообщают о своей жизни, о своих родителях, о своих мечтах. Они пишут нам: «Мне очень понравился ваш герой, я бы хотел с ним познакомиться. Пришлите, пожалуйста, его адрес».

Я оглядел полки книжных шкафов — ни одной книги о войне. Ну что это за народ, который не пичкает своих детей историями о кровавых ужасах!

Вечером после обильного обеда я лежал на кровати, слушал по радио речь Кастро, передаваемую с Красной площади.

Мне хотелось пойти посмотреть на него, но я не мог заставить себя подняться. Его испанский язык великолепен — ясный, ритмичный; четкие, лаконичные фразы врываются, как вспышки маяка, в отрывистые фразы советского переводчика. Испанский язык Кастро страстный, зовущий, это полная противоположность мертвому, жестокому, ломаному языку испанских полицейских и солдат, замучивших Гримау. Я ловлю обрывки речи:

«...Кубинская революция стала возможной только потому, что гораздо раньше совершилась русская революция 1917 года. Вчера, когда мы были в Мурманске, мы увидели новый город, тысячи новых зданий. Но нам показали также фотографии, запечатлевшие Мурманск сразу после войны, без единого неразрушенного дома...»

Как видно, Кастро действительно замечательная личность. Он весь с головой ушел в борьбу — такие побеждают. И кажется, будто зубовой скрежет капиталистов заглушен первым танком, гремящим по булыжникам Красной площади.

«...Будущее человечества — это будущее социализма и коммунизма... Слава Ленину! Да здравствует пролетарский интернационализм! Да здравствует дружба между кубинским и советским народами!.. Родина или смерть! Мы победим!»

Аплодисменты, разноголосые выкрики толпы. Небольшие облака на западе пылают в огне красного солнца, которое, казалось, подхватило слова Кастро и взяло их с собой в далекий путь. Оно спускается все ниже, срезая рваные края лохматой тучки, и оказывается почти на одном уровне с новыми строящимися домами; многочисленные краны вокруг них бездействуют по случаю Первого мая.

Народный праздник

Первое мая — праздник народных масс. На метро к площади Свердлова переполненные эскалаторы несут вверх сотни молодых людей. Девушки в желтых майках и белых юбках. Нарядные детишки с красными бумажными вертушками. Круглые лица, сияющие глаза. И все, выйдя из поезда и пройдя по мраморному вестибюлю, несутся вверх по движущемуся склону. Наверху давка, но толпа непрерывно движется к выходу на площадь. Улыбаются, болтают, а лестницы все лезут и лезут вверх. Толпа всасывает в себя всех до одного.

Солнце горит золотой звездой на одной из кремлевских ба-

шен. Снаружи — густые толпы. Молодежь разбивается на группы: красные, голубые, желтые, белые майки, кое-где цвета перемешаны. Живая цветочная клумба колышется, как море, движется, шумит — огромный цветущий сад растущих людей.

По площади во всю ее ширину движется колонна демонстрантов. Все одеты по-праздничному. Кто в плаще, кто без, на головах кепки, фетровые шляпы; некоторые в одних рубашках, несут пиджак на руке. От всех районов Москвы, от всех учреждений, заводов, магазинов — людская масса с красными флагами под голубым куполом неба, колышущаяся, как горящее поле пшеницы в мирный летний день.

Вперед, вперед, вперед — люди, флаги, портреты. На плечах у взрослых дети в матроских шапках, с цветами и кубинскими флагами. Огромные портреты членов Президиума Верховного Совета. Бурные приветствия профсоюзам. Такая же овация комсомолу.

Демонстранты шагают весело и легко, но есть в этом и что-то торжественное. Советские люди знают, чего удалось им достигнуть, знают, и какой ценой.

Я вижу их всех: молодые буяны, люди интеллигентных профессий, рабочие, женщины — те, кто ремонтирует дороги, строит дома, замешивает бетон; закаленные, умные, несокрушимые русские люди, которых мы должны узнать поближе. Русские девушки и юноши прошлого столетия горели революционным идеализмом, жаждой служить революции — теперешняя молодежь уезжает на целину, на Дальний Север или отправляется в геологические экспедиции в девственные, кишмящие комарами сибирские леса. Исконное стремление русского человека служить делу осталось. Остались жизнеспособность, гордость и добродушие. Широкая река первомайского праздника течет через Красную площадь.

На мгновение я готов сам начать махать руками, выкрикивать приветствия, но нет, я только наблюдаю, я писатель. И я продолжаю строчить, исписывая листки моей записной книжки. Я боюсь, что в ручке кончатся чернила.

Кубинцы со своим барабаном. Все им машут. Огромный барабан перебивает ритм военного марша. Погода отличная. Бог милостив к сегодняшнему параду — и правильно поступает; скоро ему не останется места ни в одном уголке земного шара — и слава богу!

Три часа. Четыре часа. Легче шагать в рядах демонстрантов, чем стоять и смотреть. Возвращаясь с парада, я вижу, что на набережной за рекой над зданием английского посольства развевается флаг — в честь сегодняшнего праздника. И в центре его — лицо английской королевы, благосклонно взирающей на

советских рабочих людей, которые сидят на краю газона, отдыхая. Они сворачивают свои знамена и транспаранты, складывают их на грузовики. Забираются в него и сами — их развезут по домам, где они отдохнут перед тем, как вечером пойти погулять по яркому, праздничному городу.

Это был день Первого мая, и все, что я мог, это сказать про себя словами Чехова:

«Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!»

Возвращение

Самолет с ревом мчался вперед — нет, назад, вспять, сквозь облака, обступившие землю, вниз к внезапно замелькавшим английским улицам. Домики, четкие перекрестки, городское движение... Страна так далеко ушла в своем развитии, так, точно в ней все прилажено и пригнано, что время стерло на ней следы развития. Она выглядит такой ручной и усмирненной по сравнению со всем тем, что мне довелось повидать за последний месяц. И мне казалось, будто я вернулся в далекое прошлое, назад в историю.

Ощущение это не покидало меня и после того, как я сошел с самолета. Шоссе и улицы с великолепным покрытием, а в Братске колеса грузовиков буксуют в грязи или гремят по здоровенным булыжникам. На такие вот дороги требуются годы и годы, думал я. Здесь асфальтированы даже самые глухие улочки. Но одеты англичане не лучше и выглядят не более сытыми, и уж, во всяком случае, у них лица куда менее одухотворенные.

Это возвращение назад в историю действовало на меня угнетающе. Вокруг тихая, спокойная мертвечина, уютный хаос, с которым смирились. Я снова в стране, где каждый занят только своим делом, где твой дом за определенную сумму становится твоей крепостью, где социальный прогресс тихонько бредет куда-то по этому беспорядку. На глаза мне попадались рекламы. Весь месяц, целые четыре недели я отдыхал от их крикливой вздорности, от этого конечного плода большой созидательной энергии. А впрочем, куда же девать излишки энергии? Немощенные дороги — признак того, что страна еще строится; рекламы говорят о том, что строительство в ней прекращено.

Целый месяц я не читал никаких газет, кроме «Дейли уоркер» и «Юманите», и мне было интересно узнать, что же произошло нового в мае. Оказалось, ничего. Газеты были заполнены обычными тривиальностями. Ничего не произошло. Я уже

заметил, что так оно всегда бывает после долгого отсутствия. В толстых еженедельных и ежемесячных журналах статьи под привычными заголовками: «Трагедия левых», «Нужна ли обществу интеллигенция?», «Можем ли мы полагаться на бога?», «Посещение Берлина», «Лейбористы возвращаются к власти». В газетах нет никаких новостей для путешественников, для странников, уходящих на поиски истинной души Земли. Как только вы перережете пуповину и оторветесь от шумихи продавцов новостей, к вам возвращается подобие душевного здоровья. Я ездил по России как путешественник, и в Англию я вернулся таким же путешественником.

Я надеюсь еще раз увидеть Байкал, вдохнуть в себя бодрость Иркутска и Братска, переплыть реку под Волгоградом, зайти в магазины на Невском проспекте, еще раз взглянуть на сорок картин Рембрандта в Эрмитаже и побродить у кремлевских стен, когда вокруг лежит глубокий снег и горят фонари. И неплохо было бы сесть на пароход и проплыть по Волге от Горького до Астрахани, а потом к Баку, пересечь Каспийское море, дальше сесть на поезд до Караганды и Акмолинска, затем на сибирской «Стреле» спокойно двинуться до Владивостока. Меня приглашали целый год бродить по Сибири, до самой границы Монголии среди озер и пустынных земель к юго-западу от Байкала. Еще меня звали поехать поохотиться.

Путешествие — вещь хорошая. Возможности неисчерпаемы. Но охота и писательское ремесло плохо вяжутся одно с другим, во всяком случае, для меня. Дорога на Волгоград широка. Россия огромна, Советский Союз еще необъятнее. Ему под стать его гигантские самолеты, взмывающие в небо, в стремительном полете уносящиеся далеко за Волгоград.

Алан Силлитой
ДОРОГА НА ВОЛГОГРАД

Редактор **П. КРАВЧЕНКО.**

А 00794. Подписано к печати 10/XI 1964 г. Тираж 97 600. Изд. № 2086.

Зак. 2763. Формат бум. 70×108¹/₃₂. 0,75 бум.л.—2,05 печ. л. Цена 6 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Цена 6 коп.

Работа
сельского
хозяйства!



Собирайте лом
черных
и цветных
металлов!